

# СИБИРЬ

5 • 2022

БАЙКАЛ, БАЙКАЛ...

*Валентин Распутин*



АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ АНОСОВ  
Экслибрисы



# СИБИРЬ

394/5 5.2022

Литературно-художественный  
журнал писателей Восточной Сибири  
Учредитель — Иркутское региональное отделение  
Общероссийской общественной организации  
«Союз писателей России»  
Журнал выходит при финансовой помощи  
Министерства культуры и архивов Иркутской области  
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

## Содержание

---

**Валентин Распутин.** Байкал, Байкал... *Очерк* ..... 3

### Иркутская хрестоматия

*85 лет со дня рождения*

**Владимир Жемчужников.** Синий обелиск. *Рассказ* ..... 8

### Поэзия

*К 75-летию известного русского поэта*

**Василий Забелло.** «Душа скучает по былому...» ..... 11

*К 75-летию известного русского поэта и просветителя*

**Геннадий Гайда.** «И повет странюю иною...» ..... 35

**Валентина Ефимовская.** «Приемля лишь Божию милость...» ..... 55

**Григорий Вихров.** «Просыпается плачущий Спас...» ..... 72

**Любовь Ладейщикова.** «У подножья сумрачной державы...» ..... 92

**Юрий Беличенко.** «Вот оно, Господи, позднее время моё...» ..... 116

Отзывы на публикацию Юрия Беличенко на сайте «Российский писатель» ..... 123

**Владимир Скиф.** Воспоминание с посвящением ..... 125

### Проза

**Владимир Личутин.** Русский царь Иоанн Васильевич. *Главы из повествования* ..... 19

**Михаил Тарковский.** День рождения. *Рассказы из повествования* ..... 42

**Елена Шолохова.** Комсомольское сердце. *Рассказ* ..... 63

**Денис Гербер.** Приснившаяся змея. *Рассказы* ..... 79

### Литературная критика

**Эдуард Анашкин.** Горечь и любовь Станислава Куняева ..... 101

Поклонная любовь Елены Чубенко ..... 106

**Алёна Шипицына.** Звучащая живопись. *Байкал в поэзии Владимира Скифа* ..... 110

## Очерк и публицистика

**Игорь Аброскин.** «Рыбак, охотник — дома не работник» ..... 128

**Владимир Скиф.** «За окном продрогшего вижу воробья...» ..... 132

## Вернисаж

**Валентина Иванова.** Сокровенный портрет. *Экслибрисы Анатолия Аносова* ..... 142

**Книжная полка** ..... 150

## Сумочка к редактору

**Владимир Скиф.** Литературные пародии ..... 153

*Исполняющий обязанности главного редактора Ю.И. БАРАНОВ  
Заведующий отделом поэзии В.П. СКИФ  
Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь С.В. ЗУБАКОВА*

### **СОВЕТ ЖУРНАЛА**

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, Ю.И. Баранов, В.В. Козлов,  
М.Т. Орлов, О.Н. Полунина, А.М. Семенов, В.Н. Хайргозов.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 14.09.2022 г. Выход в свет: 05.10.2022 г. Формат 70x108/16.

Усл.-печ. л. 13,65. Тираж 1000. Цена свободная.

Отпечатано в типографии: ООО «Репроцентр+»

Адрес типографии: 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1. Тел. 8 (3952) 540-940.



## ВАЛЕНТИН РАСПУТИН



### Байкал, Байкал...

ОЧЕРК

Один из первых восхищенных отзывов о Байкале из русских людей оставил протопоп Аввакум. При возвращении из даурской ссылки «неистовому» протопопу пришлось летом 1662 года переправляться с восточного берега моря-озера на западный, и он пишет о Байкале:

«...Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки, — двадцеть тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — все богоделанно. Лук на них растет и чеснок, — больши романовского луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли богорасленные, а во дворах травы красныя — и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры и таймени, стерледи, и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великия в нем, во окиане-море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо, — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для челоовеков, чтоб, успокояся, хвалу богу воздавал».

«Святое море», «святое озеро», «святая вода» — так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в XVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной тайной и красотой. Это поклонение Байкалу и диких людей, и людей для своего времени просвещенных было одинаково полным, захватывающим, несмотря на то, что у одних прежде всего затрагивало мистические чувства, а у

других — эстетические и научные. Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное».

Со временем Байкал обмерили и изучили, применив для этого в последние годы даже и глубоководные аппараты. Он обрел определенные размеры и по ним стал сравним: его сравнивают то с Каспием, то с Танганьикой. Вычислили, что он вмещает в себя пятую часть всей пресной воды на нашей планете, объяснили его происхождение, предположили, как могли зародиться в нем нигде больше не существующие виды животных, рыб и растений и как сумели попасть в него виды, существующие за многие тысячи километров в других частях света. Не все эти объяснения и предположения согласуются даже и между собой. Байкал не столь прост, чтобы так легко можно было лишиться его таинственности и загадочности, но тем не менее, как это и должно быть, по своим физическим данным он поставлен на соответствующее ему место в ряду величин описанных и открытых. И он стоит в этом ряду... потому лишь, что сам-то он, живой, величественный и нерукотворный, ни с чем не сравнимый и ни в чем нигде не повторимый, знает свое собственное извечное место и свою собственную жизнь.

Как и с чем действительно можно сравнить его красоту? Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас любя и мила своя сторона, и для эскимоса или алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного совершенства и богатства. Мы с рождения впитываем в себя воздух, соли и картины своей родины, они влияют на наш характер и в немалой степени организуют наш жизненный состав. Поэтому недостаточно сказать, что они дороги нам, мы — часть их, та часть, которая составлена естественной средой; в нас обязан говорить и говорит ее древний и вечный голос. Бессмысленно сравнивать, отдавая чему-либо предпочтение, льды Гренландии с песками Сахары, сибирскую тайгу со среднерусской степью, даже Каспий с Байкалом, можно лишь передать о них свои впечатления. Всё это прекрасно своей красотой и удивительно своей жизнью. Чаще всего попытки сравнения в таких случаях происходят от нашего нежелания или неумения увидеть и почувствовать единственность и неслучайность картины, трепетного и тревожного ее существования.

И все-таки у Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает особенное старание, отделяет с особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Не будем сейчас говорить о его богатствах, это отдельный разговор. Байкал славен и свят другим — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных испытаний.

Вспоминаю, как мы с товарищем моим, приехавшим ко мне в гости, долго шли и далеко ушли по берегу нашего моря по старой Кругобайкальской дороге, одному из самых красивых и ярких мест южного Байкала. Был август — лучшее, благодатное время на Байкале, когда нагревается вода и бушуют разноцветьем сопки, когда, кажется, даже камень цветет, полыхая красками; когда солнце до блеска высвечивает внове выпавший снег на дальних гольцах в Саянах, которые

представляются глазу во много раз ближе, чем они есть в действительности; когда уже и впрок запаса Байкал водой из тающих ледников и лежит сыто, часто спокойно, набираясь сил для осенних штормов; когда щедро играет подле берега под крики чаек рыба и когда на каждом шагу по дороге встречается то одна ягода, то другая — то малина, то смородина, красная и черная, то жимолость... А тут еще и день выдался редкостный: солнце, безветрие, тепло, воздух звенит, Байкал чист и застывшие-тих, далеко в воде взблескивают и переливаются красками камни, на дорогу то пахнёт нагретым и горчащим от поспевающего разнотравья воздухом с горы, то неосторожно донесёт прохладным и резким дыханием с моря.

Товарищ мой уже часа через два был подавлен обрушившейся на него со всех сторон дикой и буйной, творящей пиршественное летнее торжество красотой, дотоле им не только не виданной, но даже и не представляемой. Повторяю, что она была в самом расцвете и самом разгаре. Прибавьте к нарисованной картине еще горные речки, с шумом (так и хочется сказать: с хрустальной торжественной музыкой) сбегаящие в Байкал, к которым мы раз за разом спускались испробовать водицы и посмотреть, с каким таинством и с какой самоотверженностью вливаются они в общую материнскую воду и затихают в вечности; прибавьте сюда еще частые тоннели, аккуратные и со вкусом отделанные, кажущиеся естественными, которых здесь не намного меньше, чем километров по этой дороге, и над которыми то торжественно и строго, то причудливо, словно с только что окончившей игру вольностью, высятся скалы.

Всё, что отпущено человеку для впечатлений, в товарище моем было очень скоро переполнено, и он, не в состоянии уже больше удивляться и восхищаться, замолчал. Я продолжал говорить. Я рассказывал, как, впервые попав в студенческие годы на Байкал, был обманут прозрачностью воды и пытался рукой достать с лодки камешек, до которого затем при замере оказалось больше четырех метров. Товарищ принял этот случай безучастно. Несколько уязвленный, я сообщил, что в Байкале удается видеть и за сорок метров — и, кажется, прибавил, но он и этого не заметил, точно в Москве-реке, мимо которой он ездит в машине, такое возможно сплошь и рядом. Только тогда я догадался, что с ним: скажи ему, что мы за двести-триста метров в глубину на двухкопеечной монете читаем в Байкале год чеканки, — больше, чем удивлен, он уже не удивится. Он был полон, как говорится, с крышкой.

Помню, его доконала в тот день нерпа. Она редко подплывает близко к берегу, а тут, как по заказу, нежилась на воде совсем недалеко, и, когда я, заметив, показал на нее, у товарища вырвался громкий и дикий вскрик, и он вдруг принялся подсвистывать и подманивать, словно собачонку, нерпу руками. Она, разумеется, тотчас ушла под воду, а товарищ мой в последнем изумлении от нерпы и от себя опять умолк, и на этот раз надолго.

Я даю это ничего не значащее само по себе воспоминание для того лишь, чтобы иметь возможность процитировать несколько слов из большого и восторженного письма моего товарища, которое он послал мне вскоре после возвращения домой с Байкала. «Силы прибавились — это ладно, это бывало, — писал он. — Но я теперь духом поднялся, который оттуда, с Байкала. Я теперь чувствую, что могу немало сделать, и, кажется, различаю, что нужно делать и чего не нужно. Как хорошо, что у нас есть Байкал! Я поднимаюсь утром и, поклонясь в вашу сторону, где батюшка-Байкал, начинаю горы ворочать...»

Я понимаю его...

А ведь он, товарищ мой, видел только маленький краешек Байкала, и видел его в чудесный летний день, когда все вокруг благодарствует покою и солнцу. Он

не знает, как в такой же точно день, когда светит солнце и недвижим почти воздух, Байкал может бушевать, казалось бы, ни с чего — словно взбученный изнутри. Смотришь, и не веришь своим глазам: тишь, безветрие и грохот воды — это за многие и многие километры дошел сюда из района шторма вал.

Он, товарищ мой, не попадал ни под сарму, ни под култук, ни под баргузин. Так называются ветры, которые мгновенно, с сумасшедшей силой налетают из речных долин и способны натворить на Байкале немалые беды, поднимая порой волну до четырех и шести метров. Байкальский рыбак не станет, как поется в песне, просить: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...»

Он не видел северного Байкала во всей его суровой и первозданной красоте, среди которой теряешь и ощущение времени, и меру дел человеческих, — так щедро и царственно властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. В последние годы, впрочем, человек и тут торопится наверстать свое, укорачивая на привычный ему манер и царственность, и вечность, и покой, и красоту.

Он не бывал в бухте Песчаной, где солнечных дней в году гораздо больше, чем на прославленных южных курортах, и не купался в Чивыркуйском заливе, где вода летом нагревается ничуть не меньше, чем в Черном море.

Он не знает зимнего Байкала, когда вычищенный ветрами прозрачный лед представляется настолько тонким, что под ним, как под увеличительным стеклом, живет и шевелится вода, на него боязно ступить, а между тем под ногами может быть и метр и больше толщины; не слышал он, товарищ мой, с каким гулом и треском разрывает Байкал, пошевеливаясь, под весну этот лед широкими бездонными трещинами, через которые ни пройти ни проехать, а затем, снова сойдясь, возводит над ними великолепные громады голубых торосов.

Он не попадал в волшебную сказку: то мчится навстречу тебе с распущенным белоснежным полотнищем парусник; то повиснет в воздухе, плавно снижаясь и как бы приноравливаясь, где лучше сесть, средневековый красавец замок; то широкой полосой плывут с высоко и гордо поднятыми головами и совсем близко наплывают на тебя лебеди... Это миражи на Байкале, обычное здесь явление, с которыми связано немало прекрасных легенд и поверий.

Он, товарищ мой, много чего не видел, не слышал, не испытал, а лучше сказать, не увидел, не услышал и не испытал почти ничего. И мы, живущие подле Байкала, не можем похвалиться, что знаем его хорошо, потому что узнать и понять его до конца невозможно — на то он и Байкал. Он постоянно разный и никогда не повторяет себя, каждое мгновение он меняется в красках и оттенках, в погоде, движениях и духе. О, дух Байкала — это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с мистической опаской задумываться, насколько волен человек в иных местах делать все, что ему заблагорассудится.

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, товарищ мой имел возможность если не понять, то почувствовать Байкал. Чувство в таких случаях зависит от нас, от нашей способности или неспособности принять в себя духовное зерно.

Байкал, казалось бы, должен подавлять человека своим величием и размерами — в нем всё крупно, всё широко, привольно и загадочно — он же, напротив, возвышает его. Редкое чувство приподнятости и одухотворенности испытываешь на Байкале, словно в виду вечности и совершенства и тебя коснулась тайная печать этих волшебных понятий, и тебя обдало близким дыханием всесильного присутствия, и в тебя вошла доля магического секрета всего сущего. Ты уже тем, кажется, отмечен

и выделен, что стоишь на этом берегу, дышишь этим воздухом и пьешь эту воду. Нигде больше не будет у тебя ощущения столь полной и столь желанной слитности с природой и проникновения в нее: тебя одурманит этим воздухом, закружит и унесет над этой водой так скоро, что ты не успеешь и опомниться; ты побываешь в таких заповедных угодьях, которые и не снились нам; и вернешься ты с удесятенной надеждой: там, впереди, обетованная жизнь...

А очищающее, а вдохновляющее, а взбадривающее и душу нашу, и помыслы действие Байкала!.. Ни учесть, ни пометить его нельзя, его опять-таки можно только почувствовать в себе, но с нас достаточно и того, что оно существует.

Вернувшись однажды с прогулки, Л.Н. Толстой записал:

«Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в человеке чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра».

Старое, извечное несоответствие наше той земле, на которой мы живем, и ее благодати, старая наша беда.

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сделать лишь человек. И как знать, не она, не природа ли, и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных пока еще рамках, которыми определяется наше моральное состояние, не ею ли и крепится наше благоразумие и благодеяние?! Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и ночью глядит в наши глаза душами умерших и неродившихся, тех, кто был до нас и будет после нас. И разве все мы не слышим этот зов? Когда-то эвенк на берегу Байкала, перед тем как срубить для надобности березку, долго каялся и просил прощения у березки за то, что вынужден ее погубить. Теперь мы стали иными. И все-таки не оттого ли и в состоянии мы удержать занесенную уже не над березкой, как двести и триста лет назад, а над самым батюшкой Байкалом равнодушную руку, что возвращаем ему сторицей вложенное в нас природой, в том числе и им?! За добро добром, за милость милостью — по извечному кругу нравственного бытия...

Байкал создан, как венец и тайна природы, не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него вволю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом. Он никогда не отказывался помогать человеку, но только в той мере, чтобы вода оставалась чистой, красота непогубленной, воздух незасоренным, а жизнь в нем и вокруг него — неиспорченной.

Это прежде всего необходимо нам.

Байкал, Байкал...

Он давно уже стал символом наших отношений с природой, и оттого, быть или не быть в чистоте и сохранности Байкалу, зависит ныне слишком многое.

Это явилось бы не еще одним пройденным и покоренным рубежом, а рубежом последним: за Байкалом нет ничего, что могло бы неразумно рьяного в своей преобразовательной деятельности человека остановить.

Трудно удержаться, чтобы не повторить вслед за моим товарищем: как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими красотами, царственный и неоткрытый, непокоренный — как хорошо, что он у нас есть!

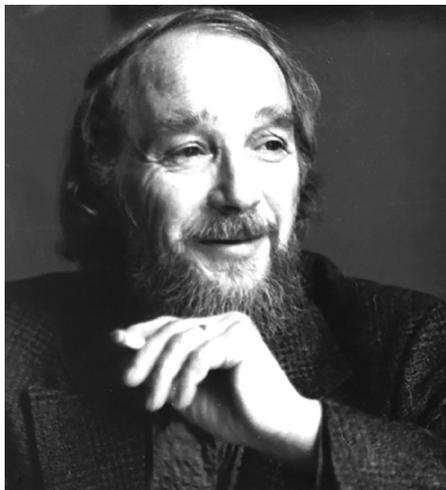
*Впервые опубликовано в газете «Советская культура» 15 мая 1981 г.  
Первое издание — в книге «Век живи — век люби». — М., Молодая гвардия, 1982 г.*

# Иркутская хрестоматия



*85 лет со дня рождения*

**ВЛАДИМИР ЖЕМЧУЖНИКОВ**



## **Синий обелиск**

РАССКАЗ

Мы с Витькой жили в старом доме на тихой улице, недалеко от Литейного. Матери наши дружили. Они дружили и до войны, но после войны, когда домой не вернулся ни мой, ни Витькин отец, — стали как две сестры. Мой погиб под Новороссийском, Витькин — под Ржевом. Мы собирались вместе побывать в тех местах, но так и не съездили. А сейчас вместе уже не получится...

---

ЖЕМЧУЖНИКОВ Владимир Борисович — прозаик, публицист, драматург, сценарист. Член Союза писателей России, член Союза кинематографистов. Родился 22 августа 1937 г. на ст. Кузино Свердловской области. Окончил философский факультет МГУ. В 1961 г. приехал в Иркутск. В 1960–1970-е был охотником-промысловиком, охотоведом. Работал на областном телевидении, в редакции газеты «Советская молодежь», сотрудничал в качестве сценариста-документалиста с киностудиями Иркутска, Свердловска, Москвы. По его сценариям снято более 20 документальных фильмов, тема которых — Сибирь, ее природа, озеро Байкал. Автор книг: «Осень на двоих» (1967); «Мужчина в доме» (1972); «Чистые кедрачи» (1973); «Белая лайка» (1981); «Уходящая натура» (1984); «Байкальская история» (1995) и др. Его перу принадлежат пьесы: «Оборванные струны», посвященная его другу Александру Вампилову, «Ваш младший брат... История одной переписки» (в 1997 Иркутский ТЮЗ поставил по ней спектакль «Дорогой Саша»), «Случайные встречи: сцены свиданий по брачным объявлениям» и др. Скончался 15 ноября 2016 г. в Иркутске.

Мы учились в одном классе и школу кончили одновременно. Аттестаты зрелости были для нас, как железнодорожные билеты, на которых забыли написать — куда ехать, каким путем. Мы не знали, куда ехать. Казалось, единственное наше призвание... играть в шахматы.

Сейчас я работаю вальщиком в леспромхозе. Общежитские ребята считают меня здоровым поспать. Да, иногда я ложусь рано. Натягиваю на голову колючее одеяло, замираю. Сплю. Как будто сплю...

...Финский залив. Миниатюрные дюны пляжа «Ласкового». Пахнет водорослями и нагретой сосновой хвоей. Мы лежим на песке, отдыхаем после очередного заплыва. У Витьки виден только нос, глаза да козырек красной купальной шапочки. Это Люська «похоронила» его заживо. Она склонилась над песчаным холмом и отжимает волосы — «льет слезы». Потом вдруг вскакивает и кричит:

— В-и-тя! Хочешь, поставим синий обелиск?!

— Почему синий? — спрашивает счастливый Витька.

Вместо ответа она падает рядом с ним на колени, вскидывает над головой руки и соединяет их. У Люськи синий глянцевиный купальник, синие смеющиеся глаза. Подобных обелисков еще никто не создавал.

Витька взрывает песчаную насыпь, прыжком встает в позу снежного человека, на секунду замирает, прицеливаясь, резко прыгает и низвергает «обелиск». Они барахтаются, хохочут. Потом хохот обрывается. Я прилежно смотрю в синее небо.

...Сейчас, зимой, мне не очень хочется в Ленинград. Но весной, я это уже испытал, меня снова потянет туда. Наверно, выработался условный рефлекс на белые ночи: когда наступает май, я плохо сплю, мне необходимо бродить по белым улицам — пустынным, призрачным, почти нереальным.

Давно не видел белых ночей. Когда увижу? Не знаю. Как приеду? Что скажу при встрече Люське? Что скажу Витькиной матери? Недавно опять получил от нее письмо: «Саша, опиши подробно все, как было. Я должна это знать...»

А что написать? Она почти все знает. Как нам пришла идея ехать в Сибирь строить железную дорогу, как уезжали мы. Трудно уезжать из дома, если у тебя дома — одна мать. Ну, а если не одна, если есть еще такая девчонка, как Люська, тогда уехать невозможно. Тогда надо просто бежать.

Мы работали взрывниками. Дорога строилась в угрюмых, ощетинившихся тайгой глухих горах. Без взрывных работ не обошелся, пожалуй, ни один километр полотна. Трассе нужны были тоннели, выемки, насыпи, полочки. И мы с Витькой делали их.

Мы рвали горы и чувствовали себя немного солдатами.

Горы разламывались, разлетались в куски от массовых взрывов; крупно, как от землетрясения, дрожали от тоннельных взрывов. Это были настоящие бои со своей неизбежной жестокостью: больно смотреть на обритые взрывной волной кедровые стволы, на оглушенную в реке белую рыбу. Но и горы были жестоки. Они только казались равнодушными.

Стоял жаркий, до духоты, день. Над горами громоздились распухшие от жары облака. Мы по очереди то и дело ходили с бидоном к ручью за водой.

Перед взрывом, когда оставалось только закончить забойку, подсыпать кое-где в шурфы песок и проверить сеть — рвали мы электричеством, — пришла моя очередь идти за водой. Я пошел.

Душно было даже в тени под елями у ручья. Я умыл лицо, полил из бидона на спину, долго плескал воду пригоршнями в грудь. Стало легче.

Я не сразу заметил, что в лесу потемнело: из-за ближней горы вывалилась туча и закрыла большой кусок неба. Она росла быстро, бесшумно (грозы в горах часто приходят незаметно). Я стоял и смотрел, как клубятся края тучи. Картина была тревожная, завораживающая, как большой пожар.

Зачерпнул воды и быстро зашагал назад к ребятам.

Молния, прямая и толстая, разрубила небо сверху донизу и вонзилась где-то впереди, совсем близко. На мгновение у меня потемнело в глазах. И тут, словно раскололись и небо, и горы, — ударил гром. Не знаю, или я сам инстинктивно прыгнул, или меня отбросило, но я оказался прижатым к толстому кедровому комлю.

Между гор еще колотилось эхо, когда вдруг затрещали деревья, будто кто-то начал обламывать им вершины и толстые нижние сучья. Близко что-то просвистело и с хрустом врезалось в кусты. Что-то стукнулось о соседний кедр и отскочило к моим ногам. Я увидел кусок породы.

Когда камнепад затих и на деревья стали оседать тяжелые серые клочья дыма, я выскочил, схватил пустой бидон и побежал.

А дальше... Конечно же, камни не могли просто падать с неба.

Я стоял у края глубокой дымящейся выемки и искал глазами ребят. Их не было. Я стал кричать, звать всех по порядку: Витьку, Мишку, Борьку, Славку. Никто не отзывался. Сбегал в укрытие — никого. И снова кричал: Ви-и-тька! Ви-и-тька! До хрипоты, до кашля.

А потом как-то вдруг, с пронзительной отчетливостью понял, что бесполезно. Понял, почему таким сильным был гром: молния вонзилась прямо в нашу сеть, и взрыв слился с ударом грома.

До поселка, в котором стоял взрывпоезд, было километра три. Я бежал туда и, не переставая, шептал: «Витька, Витька, Витька».

Весь поселок искал ребят, и троих откопали. Выжили они. А Витьку не нашли. Ничего не нашли от него. Наверное, стоял как раз у шурфа.

Два дня я ходил по лесу вокруг того места. Не нашел ничего.

На третий день прямо там, у выемки, собрали митинг. Как гроб — на плечах — мы принесли высокую деревянную, покрашенную в синюю краску пирамиду с красной жестяной звездочкой. У края выемки, над скалистым обрывом, насыпали круглый холм и установили обелиск.

Сейчас рядом с ним уже лежат рельсы...

А я ушел тогда с трассы. Каждый день надо было ездить на работу мимо обелиска. Каждый день. Я знаю, что ребята не считают меня дезертиром. Ведь я не убежал — я ушел. Сказал «не могу» и ушел. Вот уже пятый месяц работаю лесорубом. Забыть не могу. Потому и ложусь спать иногда рано, чтоб никто не видел, не расспрашивал, не сочувствовал.

От писем только невозможно спрятаться, от писем Люськи и Витькиной матери. Недавно опять получил письмо: «Саша, опиши подробно все, как было...» А как напишешь ей, что ничего не нашли?

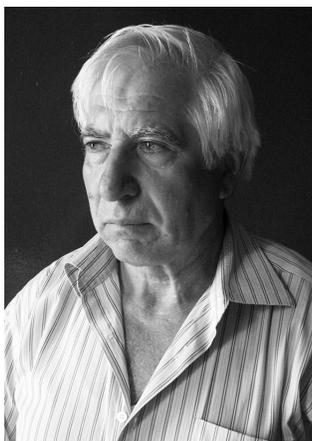
И Люське я не скажу всего. Ведь обелиск у обрыва, синий, суровый, совсем не походит на тот — живой обелиск на Финском заливе, который изображала когда-то она. Может, он походит на те, что стоят под Новороссийском и Ржевом. Не знаю. Мы с Витькой не посмотрели их.

# ПОЭЗИЯ



*К 75-летию известного русского поэта*

**ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО**



«Душа скучает по былому...»

**Проповедники**

*Протоиерею Евгению Старцеву*

До чего же простые умы...  
И откуда там зауми взяться?  
От весла, топора и сумы  
Он призвал их за Ним подвизаться.  
И они без раздумья пошли,  
Светом истины души встревожить,

---

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович родился в семье лесника. Любовь к литературе пришла от строк Тютчева («Я встретил вас...»), Вознесенского («Начни сначала...») Проникнув душой в значимость влияния слова на человека, он понял, что стихи надо писать судьбой и кровью. Впервые опубликовался во время службы на флоте, в газете «Тихоокеанская вахта» (1969). В дальнейшем творчестве никогда не писал стихи на заказ. Лауреат областной конференции «Молодость. Творчество. Современность», которая открыла ему дорогу в большую литературу. С 1979 постоянно публикуется в городских и областных газетах, в журнале «Родная Ладога» (город Ленинград), в приложении к журналу «Молодая гвардия», журналах «Сибирь», «Москва», «Наш современник», «Литературная учеба» (издание Литературного института), во многих других изданиях. Стихи выходили в коллективных сборниках «Начало» (1981), «Час России» (1988). Автор книг: «Ледостав» (1988), «Возвращение» (1990), «Осенний пал» (2001), «Избранное» (2007), «Готовься, Русь...» (2016). Член Союза писателей России. Живёт в г. Байкальске.

Мрак и зло многогрешной земли  
Источить и любовь приумножить.  
Так вершат они пастырский труд.  
Опираясь на посох терновый,  
Всё идут по земле и идут  
Проповедники Веры Христовой.

### Набережная Иркутска

Накрытый ночью, город замолкает.  
И пушкинской эпохи фонари,  
Как встарь, беззвучно синеву лакают  
И морщатся в потоках Ангары.  
С баржи мотив доносится весёлый.  
В эфире закарпатская свирель.  
И силуэт старинного костёла  
Напоминает сумрачную ель.  
А дальше — Спас, облитый лунным светом,  
Медовые возносит купола...  
С пустых церквей недавно сняли вето,  
Как мало их Россия сберегла.  
Вчерашней бойни страсти не остыли.  
Глазницы храмов гулки и черны.  
Перемешались тати и святые  
В больной толпе расхристанной страны.  
Давно душа мятущаяся просит  
Божественной глубокой тишины,  
Как на крылах, меня она уносит  
К святым осколкам русской старины.

\* \* \*

Ангел, Ангел, — вестник Божий!  
Огради меня  
От духовных бездорожий,  
Адова огня.  
Застолби мою дорогу  
Крепостью любви,  
Чтобы путь угодный Богу  
Удалось пройти.

\* \* \*

*Отцу Владиславу*

Набродился по миру, по миру,  
Забывая свет родных небес...  
Освяти мне, батюшка, квартиру,  
За порогом чтоб остался бес.

Прокади мне ладаном жилище:  
Все углы и стены, потолок.  
Чтобы дух стяжал я, словно нищий,  
Чтоб сиял на кухне образок.

Я седую главу к нему приложу,  
Покаянно, слёзно помолюсь.  
Расскажу, как шёл по бездорожью,  
Как обрёл потерянную Русь.

Освяти мне, батюшка, квартиру,  
Я лампаду на ночь засвечу...  
Набродился по миру, по миру,  
Жить во мраке больше не хочу.

## Святой Лука Крымский

«Возьмите иго моё на себя...»

*Евангелие от Матфея*

Он выбрал крест и скальпель  
В безбожное то время,  
По зёрнышку, по каплям  
Ронял благое семя.  
Платил скорбящей данью  
За ту любовь и милость,  
Он полюбил страдания, —  
Душа Его светилась.  
И отступала темень,  
Он иго нёс Христово.

И возрастало семя  
Из той Любви терновой.  
Один росток привился  
В Чите, что за Байкалом.  
И храм зазолотился,  
Да так, что места мало.  
Идёт под крест с поклоном  
Народ, что сердцем верит,  
И колокольным звоном  
Вновь путь Россия мерит!

## Покаянное

*Отцу Анатолию*

Знамя багряное свет затмевало,  
Ликом сошуренным всюду зияло.  
Вето — на веру, и храмы — в руины!  
Жгут октябрями мне душу рябины.  
Вихри кровавые Русью кружили,  
Радую бесов, страстями мы жили.  
Хлебом единым ли тайно спасались?  
Только без веры мы всё ж не остались.  
Нам собирать благодатное жито  
Дней окаянных, без Бога прожитых.  
Звон колокольный плывёт, растекаясь.  
Спросит ли батюшка: «Каешься?»  
— Каюсь!

\* \* \*

Распахнулись врата в скитский храм небольшой,  
Богомольцы пошли, отпуская поклоны...  
Вместе с ними и я с покаянной душой,  
Всё мирское отринув, молюсь на иконы.  
В суете безоглядной я тратил года,  
Благо, вышел на свет к алтарю и приходу...

А вокруг всё росли и росли города,  
Но тянулась душа к промолённому своду.  
Долог путь от калитки до скитских ворот,  
Но звучит благодатная песнь херувимов,  
Но, спасаясь, стоит осенённый народ  
Теплой дланью Христовой незримой.  
Духовник прозорливец, скажи мне, скажи!  
Ведь не зря я стремился в святую обитель:  
Уготована ль тайна для трудной души?  
И как долго со мной будет ангел-хранитель?

*Оптина пустынь. 2007 год*

## Исповедальное

Зажгу свечу исповедальную, Под образами засвечу. Грехи и ближние и дальние Прости мне, Боже, — прошепчу.	Теперь-то знаю, что на Святки Мать доставала образа.
Я человек, я слаб душою. Я грех, как радость, возлюбил. В бесовский омут с головою Бросался так, что свет не мил...	Был Николай Угодник с нами, И Матерь Божья, и Лука... Свечи медовой чудо-пламя Держала мамина рука.
Я накопил такого груза, Что гнёт до матушки земли. Но как бы ни был путь мой узок, Лучи свечи к Тебе вели.	То было время — власть безбожных. Народ гнобил лукавый змей. Хранилась вера осторожно В сердцах униженных людей.
Из детства помню: потаённо Молилась мама по ночам. И я глядел завороженно, Как бьётся трепетно свеча.	Но жизнь текла... И главным самым В ней был лишь тот из детства свет. «Сынок, — благословляла мама, — Нам без Христа спасенья нет».
Тянулись лучики к кровати. Я их ловил во все глаза...	И вот я здесь, великий грешник, Держу церковную свечу. Священник наш из самых здешних — Ему открыться я хочу.

## Молитва

Не покидай меня, молитва, К нетленной радости зови. Идёт невидимая битва Во имя Света и Любви. Растленный мир и гнёт, и горбит... Да минет ада западня. Через мытарства, через скорби Веди меня, спасай меня.	Не все исполнены обеты По укрошению страстей. Не все акафисты пропеты В тиши молитвенных ночей. Да будет в радость это бремя — Христу молитвою служить... О дай, Господь, ещё нам время Для очищения души.
--	---

## Мечта

*Отцу Назарию*

Впереди лишь бездна вечности,  
Позади — небытия...  
Доброхотом человечности  
Стань же ты, душа моя.  
От мирских сует до пагубы  
Только руку протяни.  
Мне о Боге думать надо бы  
Все оставшиеся дни.  
Мне бы к храму да к причастию  
Свят-дорожку проложить.

Чтобы в Боге тихо, счастливо  
На земле ещё пожить.  
Вы простите, люди милые —  
Други, недруги, родня,  
По воде пусть пишут вилами  
Всё, что знали про меня.  
Там, в скиту, под сенью липовой  
Я лампаду засвечу,  
И, молясь, о прошлом всхлипывать  
Ни за что не захочу.

\* \* \*

Невоплощенные мечты  
Опять зовут меня в дорогу.  
И снова поле и цветы,  
И мир широк. И слава Богу.  
Вон лебеда златит откос.  
Пылит повозка мне навстречу.  
За полем рощица берёз  
Шумит себе под небом вечным.

Косяк летящих журавлей  
Над горизонтом уходящим,  
И в звоне солнечных лучей  
Ручей, прохладой звенящий.  
Припасть к нему, скорей припасть!  
Питать растраченные силы...  
Привет, Божественная власть,  
Не оставляй моей России!

\* \* \*

Скорбит ли дорога о вечной любви  
Глазами идущих...  
Сплетутся ли ветви, что косы твои,  
В берёзовых кущах...  
Сгоняет ли ветер златую пыльцу  
В заливы и лужи...  
Ребёнок припал ли к тугому сосцу,  
Иль дед занедужил...  
Легко и беззвучно скользят облака  
Дорогою вечной,  
Надёжно и нежно ложится рука  
На хрупкие плечи.  
Всему своё время, всему свой черёд.  
И это не ново...  
Прощенью, прощанью пора настаёт  
И судному слову.  
Не Ноев ковчег проращёт из холма,  
Но грозное пламя...  
Дай Бог, чтоб достало души и ума  
Идущим за нами.

\* \* \*

*Сыну Трофиму*

Душа скучает по былому	Там воздух чист, и небо ясно,
По небу тёмно-голубому	Там лес, и поле, и цветы,
С отливом розовым вдали,	Не обманувшие мечты
Где облака, что корабли	Ещё живут, ещё со мною...
Проходят парусной грядюю	И то, что мы зовём судьбою,
И исчезают за чертою...	В пути-дороги не сложилось,
И всё плывут, туда плывут,	И принимая жизнь как милость,
Где и меня, возможно, ждут	Мне предстоит ещё познать
Отцовский дом, подсолнух, прясло.	И скорбь, и Божью благодать.

\* \* \*

Путь без веры дюже трудный,  
Безысходен и опасен.  
Но даёт по силам людям  
Крест нести Господь наш — Спасе.  
В нём Престолы, Силы, Веды, —  
Наша кротость, наша песня.  
Сам Христос сей путь изведаль...  
Без Голгофы кто воскреснет?

## Святая земля

*Светлой памяти сына моего —  
монастырского послушника Сергия*

Облако над Русью пролетело,	Утренняя чистая пороша
Окропило доли и холмы,	Побелила пустынь, монастырь.
В западных растаяло пределах,	Рано ты, сыночек мой хороший,
Обернулось саваном зимы.	Приумножил древние кресты.
А за ним летит, курлыча, стая,	Про тебя ни слухом и ни духом...
С Родиной прощается навек.	Хоть бы голубь с вестью залетел...
На Волыни та земля святая,	Та земля да будет тебе пухом
Где почил любимый человек.	И высок молитвенный удел.

\* \* \*

Сплетает белые узоры	Опять живу мечтой о прошлом.
Шуга на синих лентах рек...	Все чаще снится дом отца.
Всё тот же лес, и те же горы —	Там у печи мурлычет кошка,
Земля любимая навек.	И я ласкаю первенца.
Я здесь учил рыбачить сына,	Пора дела свои итожить,
От красоты сводило дух...	Судьбу не хая, не кляня...
Привет, дрожащие осины,	Нет первенца, батяни тоже,
Встречаем первый снежный пух.	В небесных куцах ждут меня.

И знаю точно, что дождутся,  
Как благовременным сочтёт  
Призвать Господь... И все сойдутся,  
Кого в миру не достаёт.

Меня не будет, но узоры  
Шуга сплетёт на лентах рек...  
Всё тот же лес, и те же горы —  
Земля любимая навек.

## Радоница

...Не стучи, сын, в глухие рамы,  
В окнах выщвели небеса.  
Кромка леса. Могила мамы.  
След заросший от колеса.  
Шепот хвои и листьев свежих.  
Нынче Ангелы при свечах.  
Ветерок ласкает и нежит,  
Птичьи трели звенят в лучах.  
Ой вы, горлицы и синицы!  
Прославляйте родной уют,

Дорогие я вспомню лица,  
Тех, которых нигде не ждут.  
Но за птичьими голосами  
Зов из прошлого, оглянись!  
То взывает к ответу память,  
То взывает к ответу жизнь!  
Сам Господь этот день отметил,  
День молитвенной высоты...  
Образ Родины тих и светел,  
В нем есть мамы моей черты.

\* \* \*

*Светлой памяти родителей*

Золотые нити сентябрь  
Распускает по рощам и долам...  
Как давно нет, родная, тебя  
И отца, и отцовского дома.  
Связан был из кедровых венцов,  
С голубыми разводами окон.  
Сколько вывел под кровлей птенцов...  
Кто куда — разлетелись далёко.  
Пели песнь сентября провода.  
В чугулке доходила картошка.  
И морщилась в луже звезда  
Вечерами под нашим окошком.  
Было всё, как у добрых людей:  
И ветла, и цветник возле дома,

Коновязь, где ковали коней,  
И телятам подстил из соломы.  
Не одна тут зима промела...  
Нынче гость я залётный и редкий.  
Где был дом, там пырей да зола,  
В мир иной отошли мои предки.  
Только нет, ничего не прошло,  
Не исчезло во мраке бесследно.  
Помню я и уют, и тепло,  
Печку русскую с радостным хлебом.  
Пусть не выведу в поле коня,  
Нет ветлы, цветника, коновязи...  
Всё ушло, но живу ещё я,  
И с землёй не потеряны связи.

## Осенние журавли

*Профессору Николаю Говорину*

Оплакивая русское несчастье  
Бесхозной, обездоленной земли,  
В осеннем небе, в сумраке ненастья  
Последние поплыли журавли.  
Сердцами устремились мы за ними,  
Забыв осиротевшие поля...

Россия... Русь! — шепчу родное имя,  
За валом — басурманская земля.  
Ты помнишь, Коля, тот октябрьский вечер  
И журавлей высокую печаль.  
Наш дольний путь — он октябрями мечен,  
Полотнами расцвечен кумача.  
И всё ж в огне безудержной размолвки  
Мы сохранили радость языка.  
Гляди, опять плывут над Молоковкой,  
И песня их — по Родине тоска.  
В который раз, неистов и опасен,  
Встаёт в лохмотьях пьяный господин...  
Октябрь, октябрь, ты вновь кровав и красен,  
Но не от пламени вдруг вспыхнувших рябин.  
На пожни наши ненависти зёрна  
Летят с горстей враждебных нам племён.  
В который раз Христа венчают терном,  
Спасёмся ли для будущих времён.  
Нам предстоит надрывная зимовка:  
Не то чтоб жить, а надо выживать.  
А журавли плывут над Молоковкой —  
Они зовут нас души возвышать.

### **Берёзовая святость**

Я не пытал судьбы красивой.  
Я просто жил, отмеривая вёрсты.  
Познал страстей губительную силу,  
Познал печаль родимого погоста.  
Под куполом небес нетленно-синих  
Мной без ответа ничего не взято.  
За строгостью крестов, дорог и линий  
Я постигал берёзовую святость.  
От Радонежья до морей восточных,  
Колечками берёсту завивая,  
Все шелестит о жизни непорочной,  
Как вестница потерянного рая.  
Она струит по всей Руси великой  
Вдоль поездов, в пути гремящих глухо.  
Она являет подлинные лики  
В свечении Божественного духа.  
И грешным сердцем низко припадая,  
Молюсь и я под образом светящим:  
Храни нас, Богородица святая,  
Покуда есть берёзовые чаши.



ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН



## Русский царь Иоанн Васильевич

Главы из повествования

«Со злыми я злой, для добрых готов  
отдать последнюю рубаху».

*Иван Васильевич Грозный*

С каждым годом всё чаще убеждаюсь я, как скверно и убого знаю историю отечества, и не оттого лишь, что ленив и не любопытен, но чувствую всем естеством своим некую липкую паутину невидимого кокона, что давно уже беспощадно обволакивает Русь, не дает встрепенуться, чтобы почуять в себе телесную

---

ЛИЧУТИН Владимир Владимирович родился 13 марта 1940 года в городе Мезень Архангельской области. В 1959 году окончил лесотехнический техникум, в 1963–1969 году — факультет журналистики ЛГУ имени А.А. Жданова, в 1975–1978 году — Высшие литературные курсы при СП СССР. Автор повестей: «Белая горница» (1972), «Иона и Александра» (1973), «Долгий отдых» (1974), «Вдова Нюра» (1973), «Душа горит» (1976), «Бабушки и дядюшки» (1976), «Золотое дно» (1978), «Крылатая Серафима» (1976), «Последний колдун» (1977), «Домашний философ» (1979), «Река любви»; автобиографические повести: «Сон золотой», «Путешествие в Париж», «Анархист», «Год девяносто третий, вид из деревенского окна», «Вышли мы все из народа». Романы: «Фармазон» (1979), «Любостай» (1983), трилогия «Раскол» (2000), «Миледи Ротман» (2001), «Беглец из рая» (2005), «В ожидании Бога» (2017). Художественная публицистика: «Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе» (1989), (Д.Н.с дополнениями (2000 г., 2012), «По морю жизни на русском челне» (2016), «Уроки русского», 2014 г. Личутин — представитель русской деревенской прозы. Он пишет не только о современности, но и о жизни нескольких прошедших поколений, причём в своем творчестве Личутин всё больше и больше занимается внутренней душевной жизнью человека. В. Личутин — лауреат литературных премий: «Большая литературная премия России» (2006), «Ясная Поляна» (2009), Бунинская премия (2011), премия Правительства Российской Федерации (2011) в области культуры, премия «Золотой Дельви́г» (2012), премия имени Федора Абрамова «Чистая книга» (2020) и др. Живет в Москве.

и духовную силу; при каждой попытке обнаружить себя истинного, сразу слышится грозный окрик, дескать не туда глядишь, не тем занят, не с теми знаешься, ибо путаница в голове и пакость на душе, и разладица, и разбродица в мыслях, и всеобщее остервенение, чуранье, и окрик от всего русского напоминает сговор... И никто из добровольных начетчиков, проводников по русской истории, не пояснил, что если наши предки были «ленивы и не любопытны», как представляют нас в глазах Европы по замечанию А.С. Пушкина, ежели бы мы, как запечные тараканы, так и грели бы на горячей лежанке своё пузё и костьё, а не торили бы тропы по стылым лесам и тундрам, не вем куда, призамгливши очи и обнадежившись назиданиями Господа; не лезли бы сквозь метели и клятые морозы из любопытства, прибытка и странной мистической охоты к перемене мест, так бы и оставались, наверное, в пределах Московского княжества. Про «леность» русского человека мог, пожалуй, сказать юный Александр Пушкин, принятый в тайное братство вольнодумцем Карамзиным, сумевшим очаровать поэта историческими очерками, показавшимися питерскому салону свежими и близкими по чужебному отношению к русской жизни. Слава Господу, Александр Сергеевич скоро остыл к наивным революционным мыслям, прилетевшим с берегов Сены, и к тайному масону Карамзину, ненавистнику русского народа, презиравшему всё «низкое и посконное: запах лаптей, сермяги, кваса, суровый быт кушной дымной избенки с духом овчины, лучины и кислой капусты, мужицкую неряшливую бороду и сальный ком спутанных волос на голове». Несмотря на близость к монарху, к царскому Двору и богатые подачи, Карамзин презирал какой-то звериной татарской ненавистью всё русское, оставляя на своём письме невольную печать отвращения. С таким настроением и сочинял он по западным сплетням свои исторические очерки о былом, в которых не только очернил образы первого русского царя, его сподвижников, но и национального героя Ермака, о котором простец — человек до сего дня поёт в застолье героические стихи. «Это таинственная и мрачная личность, — писал Карамзин, — одним своим видом внушавшая ужас, был человеком без роду-племени, ни один народ не может нести за него нравственную ответственность».

При первом знакомстве темпераментный, чувственный Александр Пушкин не мог раскусить тайные коварные смыслы в исторических писаниях Карамзина, чем зачитывалась салонная публика, и лишь позднее, после восстания декабристов, явится к нему вместе с поэтической строкою глубокое, пожравшее его душу национальное гражданское чувство, и Пушкин скоро вырастет в великого русского поэта и философа. В нём трудно будет признать прежнего шалуна-барина, «пиита», который жил с французским языком, одевался по-иноземному, думал по-масонски и даже стихи писал чужими словами.

Потому и не мог понять сущность «черного народа», его смиренную божескую душу, проследить теплый взгляд в небесный аер, когда видел мужика из окна кибитки с понуренной головою, терзающего в руках овчинную шапенку, не смеющего даже взгляда поднять, чтобы разглядеть скачущую тройку и барина в глубине дорожной кибитки. Это были два мира, которые никак не соприкасались.

Но как слово воинственно без меча и копья, берет поэта в полон, отправляет скитаться в неведомые миры лишь в воображении, возле окна, иль шумного бала, творит из него нового человека; так и молодого крестьянина-копорюжника однажды внезапно забирают мечтания, срывают с нагретой лежанки и выталкивают из родного дома в изуверски трудный поход по северам, напоминающий солдатскую

неторную смертельную дорогу. Русский землепроходец волею судьбы превращается не только в странника, но и в война с Богом в душе и мечтою, возвращенной темными деревенскими вечерами при свете лучины.

И, конечно же, невольно рождаются в голове будущего землепроходца сладкие картины грядущих выгод, мехов и сказочного злата-серебра, что вдруг насылятся неведомым гласом с неба на самом краю полуночного мира Арктиды, сбивая мужичка с русской печи. И вот, заправивши брюшишко пшениным кулешом и мосоликом дичины, утерев от капустной солянки бороду, наш полярный казачок выползает из чума в морозную ночь и ладит дорогу не вем зачем и неведомо куда по невнятным наставлениям прежних ходоков-волхвов, уже давно покойных, и Божьему благословиению. И вот по воле Грозного царя стремится наш бажонный с Мезени, Двины, Онеги и Пинеги к Морю Студеному, где о край бессонного океана выставлены многочисленные ледяные торосы, стамухи и несяки, а в голомени плывут великаны-айсберги, напоминающие белокаменные италийские дворцы. Это и любопытство нудит остывающую душу к сказочным мирам, побуждает сердце к поступку, когда лишь из гордости, чтобы побороть телесную вялость и душевную скуку тихотекущих дней, выталкивает себя русский человекенко от семьи и тёплой обжитой изобки к непонятым пределам. А что там, — думает отчаяюга, — за горушкой? И кто там за чахлою елушкой? какой нетопырь хоронится в чашиннике и ставит западни? Так энергией простеца-человека и ширилась Русь, прирастала Сибирями в те самые поры, когда латинский Запад тёплыми водами попадал в неведомые Америки и Индии... Вот в те-то давние годы, преодолевая горестную юдоль и телесную усталость, крепил душу промысловыми и торговыми надеждами тороватый, удалой русский мужичонко, исполняя наказы первого русского царя...

## 1

Есть памятник скульптора Микешина русским выдающимся деятелям, и отчего-то резец художника вдруг споткнулся на фигуре царя Ивана Четвертого Васильевича Грозного, наверное испугавшись облыжных слов всякого сорта темных людей, окопавшихся у подножия царского трона, старающихся, вроде мурашей, навсегда закопать великую личность в мусор и прах, чтобы ничто в будущем не напоминало былое присутствие в русской истории замечательного создателя русского царства. А чего нет, того как бы никогда и не было. Это лишь кажется «мстительным каинитам», которые стараются зарыть в небытие всякое великое доброе дело. Ведь «чего не знаешь, о том не мечтаешь, того не жалеешь», — говорят в народе.

И ведь ничто, казалось бы, не сулило проклянуться в сонной глубине ледяной тайги солнцу новой мировой истории. Богородица долго приглядывалась к непонятому дитяти, пока-то приняла на руки, обласкала и посчитала за своего, когда из кондового леса и хвойного смолья заложат русские «стулцы» Божьего дома и назовут его «Третьим Римом». А Иван Четвертый, казалось бы, должен венчать историческую скульптуру, быть на взглавии её, вздымать над головою православный крест русской судьбы, ибо все прочие деятели только потому и проступили сквозь мрамор столетий, что их ввел в историю могучий Грозный. А они отвернулись, видно испугались черной немочи, насланной по ветру нехристями и содомитами, против которой и восстал потомок Чингисхана и римского императора Августа. Впоследствии

никто из царей так не гордился и не величился такой знаменитой наследственной кровью, не тешил в сердце, не горячил в памяти, как Иван Васильевич.

## 2

В XVI веке скитался по России лазутчик Генрих Штаден, который, изучая русских «барбаров», самонадеянно составлял для английской королевы Елизаветы план, как легче завоевать Московию, сколько для этого понадобится кораблей, пушек и войска, как поступать с пленными. Оковав их, — советовал Штаден, и залив кандалы свинцом, переправить на запад для каторжных работ. Туда же в хранилища вывезти царские сокровища: золото, серебро и меха. Тирана Грозного предлагалось заключить в клетку и, как дикого зверя, покрыв черным рубищем, возить для показа по Европе... Дескать, покрасовался в соболях и куницах — и довольно, а русская пушнина пусть греет дряхлеющую плоть достойных ливонцев, уставших от долгой войны с русскими. Запад сгорал завистью от одной лишь мысли, какие неслыханные сокровища присвоил на диком Востоке русский тиран, спрятал в сундуках несчетные богатства, которые по праву принадлежали Англии, Франции и Германии, а этот «звероподобный тиран» увел из-под самого носа. (И до сих пор чувство зависти томит Запад и не даёт спокойно жить, и они непрестанно понуждают поделиться сокровищами, или вовсе отдать западным бюргерам, имеющим торговую и ростовщическую хватку.) Ну да не об этом сейчас идет речь... Побывавшие в Московии послы неизменно вспоминали богатые царские приёмы, подарки и хлебосольных хозяев, выставлявших на трапезный стол просольных двухметровых осетров, стерляжью уху, лебедей, миски с черной и красной икрой, блюда с разным печивом; всех иностранных гостей поражал пиршественный размах, с каким встречали посольства, и невольно возникала мысль, что у «тирана» Грозного всего преизлиха, вся Русь живет в таком довольстве и сытости, которые даже и не приснятся европейскому дворянину... В своих записках иностранцы отмечали именно эту сторону русской жизни, не углубляясь ни в характер русского человека, ни в его сердечные страсти, ни в дух тамошнего жителя. И в каждом памятных «записках»-отчетах, что оставляли путешествующие после себя, невольно присутствовала неискоренимая зависть к «дикой Руси» и плохо скрываемая мечта, как бы устранить московского «тирана» и пресечь стремление «барбаров» к поискам новых земель.

В XVI веке ежегодно в лесах Сибири и Приуралья охотники добывали 50 тысяч сорочков (до двух миллионов шкурок) соболей.

Это была земля, завидная во всех отношениях, и по богатству не могла сравниться с нею никакая другая страна. Воистину Богородица одарила русский народ особенным драгоценным подарком и попросила беречь землю, насколько это возможно, не разбазаривая, не растрясая, не отдавая в руки лихоимцев и ростовщиков. Вслед за Ермаком особенно предприимчивые из Мезени, Печеры, Двины, Онеги срывались с насиженного места и шли встреч солнцу в златокипящую Мангазею (в устье Оби, через Камень и далее на Таймыр, где морем, где тундру волоками и перелазами, чтобы добыть Ивану Васильевичу новых земель, народишку, ясака: жила в северном русиче-скифе тяга к вольной кочевой жизни, когда сам себе царь, никто не стоит за спиною и не указывает, как нынче жить и с каким прицелом. И погибали поморы-землепроходцы от дорожных тягот, невысказанных

для европейца, у которого всё стоит на расчете и выгоде. И погибали поморы на Енисее и Таймыре, на Лене и Чукотке, на пустынных берегах неведомых морей, идучи незнаемо куда, оставляя в родных домах престарелых родителей, жен и малых детей. Вот потянул Господь христовеньких в неизвестные пути — и никак не отвертеться. Ступай, бажонный, куда велено твоей душе — вот и весь сказ. Вот это качество долготерпения русского скифа и заставляло иноземца кусать локоть, зависть долила при взгляде на северного «барбара», с легкостью присвоившего (так казалось вечно несатым) половину Азии...

В 1579 году в Орел-городке был набран казачий отряд в 800 человек. Возглавил отряд Ермак Тимофеевич, бывший по «летописцам» волжским атаманом. Тут, конечно, не всё так просто. Фамилия Ермаков была распространена у Белого моря (мой дядя Ермаков из деревни Жердь Мезенского уезда). Ермак — означал железный котел, в быту вещь необходимая, пользовалась успехом в меновой торговле с жителями Сибири. Казаков Ермак Тимофеевич, видимо, набирал на Пинеге, Печере и по Мезени. Из парней свычных к охоте и топоры казачатами называли у Белого моря молодых бессемейных мужиков, не имеющих своей земли, а значит и деревенской повинности, и подати в царскую казну. Казачата — люди вольные, идут куда глаза глядят, ходили по деревне меж окон, брались за хлеб на любую работу. А тут купцы Строгановы пообещали хороших денег, если пойдут набегом на кочевые племена, что повадились зорить русские деревни. В 1581 году начался поход. Год прорубались через таёжные дебри, тащили речную посуду, зарубили Кокуй-городок. Возле Туринска состоялось первое сражение с ханом Кучумом. Татарское войско было разбито, в конце сентября 1582 года заняли столицу Сибирского царства город Кашлык (Искер). Хан бежал в Ишимские степи. Когда Грозный узнал о стычках Ермака с Сибирским ханом, он приказал отозвать атамана в Москву и наказать «воров» за самовольство. Однако, вскоре прибыл в столицу есаул Иван Кольцо, донёс об успехах Ермака и попросил помощи. Грозный одобрил поход и послал в Сибирь оружие, жалование, подкрепление; отправился в подмогу есаул Брезга. Поход по сибирским диким урочищам был чрезвычайно труден. Казачий отряд стал строить крепость, шить карбаса и речную посуду, чтобы подняться к верховью Туры и удержать землю за Московью. В 1585 году атаман Ермак погиб, но огромное сибирское пространство было поклонено под русского царя. Но это случилось уже после смерти Иоанна Васильевича.

Трудно доставались русскому престолу новые земли.

\* \* \*

Лишь знать ходила в мехах, вкусно ела и сладко пила. Но Грозный отличался воздержанностью в еде от рождения, приучал своих близких к скромности в одежде и питье, блюсти строгий пост, ибо воздержание держит плоть в узде; зато был милостив к служивым, но по заслугам, за личную храбрость и смекалку, щедрость государя порою не знала меры, — тут подгадывала наградою соболья шуба с царского плеча, иль кунья шапка, волчья доха, лисья поддевка, кафтан или ферязь, клин земли с деревенькой, оружие или конь, чтобы отличившийся по службе долго помнил царскую щедрость. Прежде к мехам относились бережливо, хранили в сундуках и вонных амбарах под замком, меховое платно шло в приданое, по наследству от матери к дочери, и цена со временем не падала, сколько бы лет ни хранили гобину. На свадьбах меха бобров, черных лис, соболей, голубых песцов и ку-

ниц, волчьи, медвежьи полсти, шкуры рыси, выдры и росомахи выносили гостям на посмотрение, ими хвалились, как особым богатством, и тем поднимали невесте цену. Шкуру бурого медведя бросали почетному гостю под ноги и на лавку, или в сани-розвальни, если дело случалось зимою, чтобы почетный гость не простыл в дороге и не подхватил огневицу. Правда, несмотря на богатства русской земли, а в суздальских лесах много водилось зверья, — всякий мех в семье не сбрасывался со счетов; кошачьи, собачьи, заячьи и беличьи меха пользовались успехом у поселянина, посадского жителя, служителя и земского приказного. Всё шло в пользу, ничего на выброс, каждый лоскут шел в шитье, а хлебные крошки сметали со стола в ладонь и отправляли в рот. Всем на Руси были незабытны лютые голодные лета, навещавшие страну в каждые три года, и тогда вымирали целые деревни, и некому было отпеть и предать земле; так и валялись мертвые по дорогам и лесам на поедь воронью и дикому зверю...

И если государева семья жила скромно, усердно соблюдая посты, то царские трапезы по случаю наезжих посольств проходили с размахом: приглашались на званый обед до двухсот москвичей всех сословий, и более того, и каждому гостю было расписано своё место, и упаси Господи, ошибиться и сесть на чужое — тут быть греху, доходило до брани и кулаков, приходилось вмешиваться охране и разнимать, несмотря на строгий царский окрик. Так бояре хранили свою честь и родовое имя. Грозный уважал национальную одежду и русскую кухню. Царь не чревоугодничал. Своё постоянное место среди десятков перемен белорыбицы, осетров, стерляди и сёмги занимали серые грибы тяпаные с уксусом, грибочки отварные солёные с луком и хреном, рыжики каргопольские, белые боровики с подвinya, грузди масляные, грузди белые и черные с Вологды, малосолые огурцы с Нежина, капуста квашеная, из мясного обычно подавались лебеди белые жареные на вертеле: нынче эта птица под негласным нравственным запретом. Убивший её охотник совершает тем самым незамолимый грех, хотя бы о его поступке никто не догадывался. А прежде белых лебедей водилось на Руси обильно, и она не была занесена в охранительные списки и не считалась сакральной по своей мистической сказочной истории, — и занимала почетное место среди «жарково». Жареного лебедя несли в дом царской подачей званому на пир боярину, который по какому-то случаю не пришел на трапезу.

Католический запад питается убоиной, и потому у них звериные натуры. Православная Русь ела в основном то, что промышляла в лесу: грибы, ягоды, травы, мед. Потому у русских более спокойная, созерцательная натура. Как показывает Голливуд в исторических фильмах, «запад» рвёт убоину руками, зубами, под столом горы костей, кругом вьются собаки, рычат, лают, отнимают добычу. Католики далеки от прощения, смирения, они мстительны.

Грибы у русских всегда были в почёте (лешева еда, добыта в лесу.) И запасали впрок бочками, ушатами, кадушками, ездили ломать грибы на телегах, прямо в лесу собирали и заполняли коробьё, корзины-плетухи, заплечные пестери из бересты, тусье-берестяные вёдра, в которых грибы сохраннее стоят, не так быстро портятся, грибы солили, квасили на зиму, белые грибы-боровики сушили в жаркие дни на солнце, в дождливые — в русской печи. Народ русский хлебный, издревле живет от сохи: на охоту ходили люди свычные к лесным тяготам, бездомью, когда полгода промысловик живет одиноко в зимовейке, надеясь только на себя и на Бога. Особенно тяжело, когда завьюжит на неделю, занесет охотничьи путики, забьет снегом ловушки на пушного зверя и силки на боровую птицу. При-

прет метелью дверь кушной избушки, заметёт слюдяную оконницу, навалит под самую крышу. Вот и выдирайся из неволи; сколько ни блажи на весь белый свет, а подмоги ниоткуда, выкручивайся как сможешь, один на весь белый свет. А то и медведь-шатун повадится к зимовьюшке подхарчиться, свирепый и шальной зверь давай ломиться в глухой потемни в дверь, чуя в зимовьюшке трепещущую живую душу. А то опять же сыщется на беду вор-находальник из пришлых и давай шляться по путикам, шерстить из поставушек добычу, — и не знаешь, как разойтись с ним миром. Много всякого смешного и грешного в лесной бродячей жизни. Тяжел и безрадостен хлеб промысловика, и искрящиеся меха не поведают о буднях охотника, залягут в царской казне под спудом до лучших времен, чтобы отправиться подарком крымскому хану, иль турецкому салтану...

Царь был воздержный в еде и питье, много постился, не баловал и жену, и детей. Так 2 ноября на праздник Андрея Первозванного, которого Грозный особо почитал как крестителя Руси, было отпущено на гостевой стол в столовой полате на 35 человек ренского полведра, секту воронок, меду красного воронок, вишневого ведро, меду малинового полведра, да третник меду выкислого, приварного ведро, пива мартовского полтора ведра.

\* \* \*

Званный царский стол был обильным. Ели приглашенные на своё законное место, ели, что по вкусу и здоровью, что нравилось, остальное государь жаловал почётным жителям столицы, кого Грозный хотел бы видеть у себя во Дворце, но кто не смог придти на трапезу по состоянию здоровья, или был в отлучке из Москвы. Угощение стольники разносили по домам (лебедей и осетров, стерлядей и белуг) как почетную царскую награду. Стоит, наверное, вспомнить давно позабытое, но оставшееся в «Летописце» (закоренелые завистники Руси хулят даже русскую кухню, дескать эти «барбары» и готовить не умели толком, ничего не могли подать на стол, расхваливая при этом заморскую кухню).

Начинали обед с холодных закусок: сначала икра зернистая, вязига под хреном. Затем прикрошки, присолы, паровая (копченая) рыба, живых и свежих шук, стерлядь, лещ, линь, язь, шелешпер, сиг и т.д. После холодных закусок горячие шти и разные ухи: щучья, стерляжья, окуневая, линева, судачья, карасевая, плотичья, подлещиковая, язевая, озимая шафранная, озимая черная, венгерская; к каждой ухе подавались особые пироги — к одной подовые, к другой — с телес, к третьей — с просыпью, и далее рассольные, кислые, косые, длинные с молоками караси (печеные видом карасей), а также оладьи, пышки, кулебяки, блины простые, блины красные, драчена, каравай яцкой, каравай ставленой и пр. Другие горячие кушанья вроде соусов и похлебок, разного рода разварная или вареная в рассолах рыба, к ним подавались пышки, оладьи, сырники, блины, особого рода пироги. Уха и всякое горячее подавались в медных сковородках, и хлеб полагался к столу белый крупичатый, кольцо крупичатое, калачи четвертные (в виде хомута), укруги пшеничные, папошник, басман (особый род хлеба), хлеб расхожий и ржаной (братский). В пост вместо зернистой икры и вязиги подавались грибы: рыжики холодные, грузди холодные, рыжики и грузди гретье, шти с соком, кисель клюковный, чернослив, пирожки длинные, пирожки-копытца.

...В понедельник первой недели великого поста царь совсем не кушал. Во вторник было подано: капуста крошенная студеная, в четверг опять ествы не дер-

жано, зато в среду и пятницу было подано: взвар со пшеном сорочинским, да с шафраном да с перцем, да с ягодой, капуста студеная, да ягоды винные, орехи грецкие, горшочек мазуней с имбирем, грибки тьяпаные без масла, греночки, репа вареная резана в ломтики с уксусом, ягоды винные на рожниках, полоса дынная, арбузная, патоки.

Такое обилие всяких разносолов уже мимо нашего современного стола, многое и не слыхивано, иное известно лишь по русской литературе, многие названия блюд позабыты и утрачены навсегда, и то, что перечислено в моём тексте, лишь малая толика русской кухни, как дворянской, так и крестьянской. Одно лишь перечисление, пожалуй, займет том в тыщу страниц: но этим очевидным фактом скепсис западного жильца ничем не перебить, ибо русский христианин редко употреблял мясо, а значит, по мнению католика и протестанта, жил скверно, впроголодь...

Какое отношение ества на столе имеет к Грозному? Самое прямое. Царь соблюдал три главных обычая для православного, которые и строят совестную душу: пост, молитва и подавание, а к ним относится и трапеза, ибо тело (плоть) строит душу, а душа держит плоть, они неразлучны на земле и проживают общую жизнь, пока не разминутся в конце дней: хлеба насущного смиренно просит у Господа молитвенник, сознавая, чем живет народ, хлебосольно принимая гостя, православный утверждает свой дух, не дает упасть воле к жизни и доставляет сердцу своему праздник, даже и не задумываясь о духовном значении трапезы. Русская кухня была слитна с природой, неразлучна с нею, естественная, целесообразная, практическая, натуральная, в сущность которой не вторгался человек с его вкусами и характером и развинченной психикой, чтобы личными вкусами, привычками придать традиционному кушанью особенный чужеземный смак и со временем навязать человеку и внедрить в его душу нечто далекое от национального стола. Недаром было заповедано предками, да не едим чужого кушанья и не носим чужого платья: оказалось, что достаточно привлечь еду со стороны и иностранное платье чужой моды, чтобы исподволь, незаметно смутить человека, поколебать, покривить в нем национальный остов, скособочить его взгляд и сбить со стержня национальный характер... А казалось бы, что в том особенного — попробовать незнакомой еды, узнать чужой вкус: а вдруг придется по душе и вдруг станет то блюдо привычным и родным. Случалось и подобное, и тогда тот человек косил глазами в запад.

Грозный понимал губительное влияние чужого на родное, чужой естве и сам не доверял и строго запрещал другим. Еда и платье ощутимо зависят от природы: небо, воздух, земля, воды, леса и климат организуют плотную оболочку человека, а вместе с ней и душу, туго спеленутую плотью, и дух, и обычаи, и правила национального поведения в семье и на гостях. А нынче вместе с утратою национального невольно упростился словесный образ русской кухни, ход трапезы, её задушевность, пропала красота дружинного стола, редкостью стала народная русская песня, праздник многолюдного пиროванья скукожился и призывал, чрево потеснило душу.

И особенно странными и необычными кажутся детские воспоминания Грозного, его незатухающая обида, когда при таком обилии кушаний, при многолюдии пирующих княжичу не только не находилось достойного по его чину места на пиру, но столыники не решались подать Ванюшке и брату его Юрию хотя бы папошника, «карася» и медной тарелки со щучьей ухоею. И некому было засту-

питься за сироту, так и выходил из-за стола несатытым, голодным. Хорошо если мамка Аграфена Челяднина спохватится и подаст украдкою кусок рыбника. Опекун боярин Шуйский хотя и бывал зело пьян, но ничто не ускользало от его рысьих глаз. А во главе косога стола, где было наследственное место великого князя, сыто реготали своим шуткам удельные князья, братья Шуйские, дядья, шурины и братьяны. И это нарочитое небрежение особенно уязвляло отрока, когда в столовой палате принимали иностранных послов. Как прежде Грозному постоянно хотелось есть, так нынче множество блюд гостевого стола вызывали в нём чувство некой брезгливости, раздражения, ибо как православный человек, прилежно соблюдая древние обычаи, государь вел суровый пост, обходясь студеным груздем, или тяпаным рыжиком, а по средам и пятницам вообще ничего не ел.

### 3

Что такое Кремль шестнадцатого века? Крохотный, огороженный камнем лоскут русской земли, где скучились многие сотни народу: тут и царская семья с чадами и домочадцами, знатные княжеские и боярские фамилии, семейства вельмож и дьяков, патриарх с обслугою; просторная страна во все концы света. Вроде бы именитые имели сотни слуг, дворню и родню, имения и поместья, удельные вотчины, иные из бояр и удельных князей имели города с пригородками, десятки и сотни деревень, но взгляд всё одно упирался в сторону Кремля, каждый из «синклита» мечтал как бы зацепиться хотя бы мизинцем за сажень почётной земли. Кремль — это пуп Московии, сердце государства, он же центр мироздания, где начиналась и кончалась особенная, отмеченная Господней милостью земная судьба, и под гуд колоколов Ивана Великого было так сладко отплывать в небесный дом. Сейчас трудно представить бывшее кишение тысяч людей с их страстями, знатные насельщики всё время уплотнялись, вели интриги, подсаживали друг друга, чтобы прирастить к своему кремлевскому наделу хотя бы сажень бесценной земли; особо спесивая знать хоромами кичилась, двор в кремлевской крепости считался особой наградой, когда княжий отпрыск всё время был на глазах царя и мог при случае пригодиться, отличиться ещё в отроческие лета, попадал под благодетельную длань государя (если Бог проносил царскую грозную опалу). Житель Кремля всегда был при первых известиях, слухах, а значит невольно участвовал в интригах, вековых родовых распрях за место под солнцем, в заговорах, крепил власть, или разрушал её. В зачине русского царства сплелись судьбы Спасителя и Его верного содеятеля Ивана Васильевича Грозного.

Сначала запечатлеем облик Христа, попытавшегося обновить народы мира, наполнить их новым духом, иным содержанием души. Сохранился его облик из послания Понтия Пилата, проконсула Иудеи, римскому императору. Это вовсе не иконный и не картинный образ, разошедшийся по Миру в миллиардах списков. «Он высок и строен; вид его важен и выразителен, так что глядя на него нельзя не любить и не бояться его. Волосы на голове отлива виноградного до ушей без блеска и гладкие; от ушей до плеч идут светлыми волнами и опускаются ниже плеч; на голове разделяются на две стороны. Лицо гладкое и чистое, нет на лице никаких пятен, щёки покрыты негустым румянцем. Вид благообразный и приятный, нос и уста правильные. Борода довольно густая и одинакового цвета с волосами, разделяется надвое с подбородка. Глаза голубые и очень блестящие. В выговорах

и укоризнах страшен, в наставлениях и увещеваниях ласков и любезен. Взгляд удивительно приятен и вместе важен. Никогда никто не видел его смеющимся, не видел и плачущим. Речь его ровная и важная. Но он говорит мало. Это прекрасный из всех человек».

Будто бы это мнение самого Понтия Пилата, отдавшего прекраснейшего Иисуса Христа на поругание иудеям.

Но в представлении современного народа он обычно выглядит бестелесным, как некая иконная, бессловесная, но могущественная тень с названием Бог, на которую можно опереться и вызвать в помощь при скверных обстоятельствах. К сожалению, нынче Господь утратил прежний притягательный облик, о котором пишет проконсул Понтий Пилат... (если письмо не вымысел). Но при Иване Грозном ещё не забылось, что Христос—Богочеловек и заступленник униженных и оскорбленных перед всемогущими мира сего; именно Грозный, следуя за Господом, протянул ласковую длань «черным людям», незабытно усвоив уроки Христа о жалости, прощении и покаянии, чего не исполняли будущие императоры, наполненные лютым мщением, чтобы навсегда выпугать русский народ. Тысячи виселиц по берегам Волги во времена Екатерины Второй, суровые пытки и казни четвертованием восставших лишь на время вернули «черных людей» в рабское, униженное состояние страха, пополнили толпы безносых и безухих, отмеченных царским клеймом на лбу, но затаенное чувство гнева, его внезапный взрыв только ждали своего семнадцатого года.

Христос вместе с Грозным покинул землю до второго пришествия, удалился от человечества, погрязшего во грехе, и уже не бродит по унылым русским деревенькам, не стучит ключкой подпиральной в подоконья, просясь на ночлег, и церковь вновь понурилась, затворила врата за Спасителем, покинувшим храм. Вот и Грозный оболган и оклеветан, и православные молитвенники, к своему стыду, не заступились за святого.

У Ивана Грозного было узкое волевое лицо, крупный нос с горбинкой, небольшой рот, высокий лоб, большие голубые глаза. Чуть выдающаяся, уступистая нижняя часть лица. Иван Грозный был высоким, крупным, полноватым, сильным, крепким. У него были широкие плечи, мощное тело, росту 1 метр 86 сантиметров, темнорусые, с рыжиной волосы и рыжеватая раздвоенная борода. Обличьем царь был настоящий скиф-рус-арий, и правил он по-царски, опираясь на родовые смыслы родной земли, как единственного отечества. «Кто не любит Бога, тот не любит Россию, не любит русский народ».

Это понимание со временем проникло в сущность русского православного мира, стало притягательным смыслом жизни простонародья и дворянства (вышедшего из опричников), на который можно было опереться в громадной беде, всё поглощающем несчастье. Что и показали будущие сокрушающие великие войны, когда Русь по всем видам должна была погибнуть, исчезнуть с карты мира, а она не только выстояла, спасла себя и соседей, но усилилась, притянув под покров Богородицы даже противников Москвы, как Третьего Рима. Бояре и вельможи бежали от Грозного, брезговали им, чурались, боялись его, старались спрятаться под чужое крыло, а «чёрный люд» упорно чествовал царя, пел песни и былины, и почитал святым.

Значит, что-то не только духовное воплотилось в Иване Васильевиче от Христа, оформило, укрепило державный стержень, но и при упорной религиозной работе над собою невольно дорисовало и плотский облик. Как ни странно сие, но

человеческое обличье окончательно проявляет себя вместе с внутренним содержанием: чувства, впечатления, мысленная работа, радости и горя, страдательные минуты и неожиданные предчувствия, сны и застолья — ничто не отскакивает от человека бездельно вовне, не трогая, не обстрагивая задатков, но невольно, как резец скульптора, обрабатывает подручный материал, отыскивает глубинное его содержание. Поэтому я и поставил самовольно рядом два портрета, — как отца и сына — и, наверное, некоторых смутил, а кого-то и возмутил.

Чтобы всерьёз рассуждать о народе, надо знать его историю, хотя бы вкратце, но с любовным сердцем, ибо история — это его судьба. А что мы знаем о русском племени? Словно бы застряли в болотных чарусах и заплесневели в них, покрылись ржавчиной, заскорузли. Споткнулись на крещении Руси, отдав предыдущую историю на откуп гнусным европейским насмешникам, да так и застыли в расколячку, как языческие болваны, и никто ведь не вразумит, а что было с Русами прежде, отчего случилось такое долгое незатихающее немирие меж нами и Западом, какой злой дух сошел на тех же британцев и какой им от этого прок? Не зависть ли их мучительно долит, дескать да пусть весь мир провалится в тартарары, только бы не видели глаза и не слышали уши бриттов этих проклятых «рашен барбаров». Наверное, потому и не меркнет раздорица с Англией: так в какие же глубины отношений надо протиснуться, в какую даль веков, чтобы найти причины бесконечной вражды, которую не потушить дарами и льстивыми поклонами, не истереть грубыми тёрками. Вскрыть бы ту застарелую язву в отношениях, и тогда, быть может, случится счастливое «приятельство», ибо болячка засохнет и отомрет, и струп не будет сочиться рудой и гноем, заливающим Европу. Но что британцы потребуют взамен? Наверное, не только пространства, с таким трудом освоенные Россией, но и перемены души и веры; чтобы породниться, надо полностью перемениться, отказаться от совести, от предков, поклониться мамоне, стать ростовщиками и бесерманами, — требования сколь великие, столь для русского и невыполнимые.

Как-то скоро забылось на Руси, что Великий Князь Иоанн Грозный не только первый русский царь, но и создатель русского государства; тем самым сделал Москву его столицей. А Юрий Долгорукий, великий киевский князь, лишь отвоевал у земского боярина Кучки Степана Ивановича его деревеньки: «Воробьево на Воробьевой горе; Симоново, где Симонов монастырь; Кудрино и Кулижки; Сухашово, ныне Сущево; Кузнецкую слободу, где Кузнецкий мост; Вшивую Горку, Андрониев монастырь, тамо, где Красный пруд и где был Чистый пруд, а жилище Кучково у Чистого пруда было». В общем-то эти села и стали центром будущей столицы и прочно вписались в сознание москвичей, как и имя Юрия Долгорукого. А Великий киевский князь Долгорукий, пользуясь правом силы, которое в те века считалось ходовым и главным достоинством для достижения поставленной задачи, убил боярина Кучку, присвоил все нажитки, стада коней и коров, крестьян взял под своё имя, Улиту, дочь боярина, отдал за своего сына Андрея, обнёс новое владение деревянным тыном для обороны от соседних сродников и назвал городок Москвою, по имени реки, чтобы убрать всякое напоминание о прежних владельцах. Крепостца долго оставалась при своём начальном имени Кучково, пока-то внедрилось в народную память новое название. Много легенд, сказов и сказаний, сплетенок и побрехонек возникло о начальной грустной истории, сквозь которую просвечивала трагическая судьба земского боярина в биографии Москвы: в ряду сказочных сюжетов оказался и неудачный вымысел с Мосхом, сыном Иафета — лишь одна из страниц Московского сказания. И хотя Иван Забелин будущее столицы выво-

дил из её замечательного географического положения, особенно выигрышного в торговле и коммерции, когда в одну точку сбежались множество путей, и вроде бы все дороги открыты, — какое благо для сближения народов. Но мне думается, тут историк глядит однобоко, косит в сторону глазами царствующего дома, которому такое воззрение и необходимо. Это крупные города вырастают по экономическим соображениям из географического расположения, где важны соседи, узлы срастания и возможных конфликтов, а пути общения, дороги можно изладить. А столицы обычно создаются волею властелина, и никто не знает, что главизне на ум взбредет (королю, царю, диктатору, временщику, схватившему власть). За примером далеко ходить не надо, — это Петербург, который царствовал примерно столько же лет, как и Москва. И вот Петру Первому ударила в голову сумасбродная мысль оставить по себе дерзкую память, и он исполнил задуманное, закопав в основания величественных зданий Питера миллион холопов.

На самом-то деле трудно было и придумать самого невыгодного места для Москвы. Дикая, нехоженная тайга, комариный край, множество болот с трясинами, полное отсутствие дорог, десятки рек, речушек, проток и ручьевин, ляг и лыв, промоин, холмов и седловин — и всё это в каком-то природном неурядливом хаосе обросло лесом, чащинником, хламом, и некому было присмотреть, прибрать топором и пилою, кинуть перелазы и переходы, выставить вешками переброды, срубить ряжи мостов и устроить переправы. Схождение дорог во все концы России было прекрасно лишь на топографической карте, когда можно острием карандаша отметить старинные (ещё из древности) волока, волочки, переволочки, не считаясь с тягостями, которые на своих плечах пересиливал русский крестьянин и мелкий торговец, промышленник и солдат. А паутина рек была столь запутана, а кривули, загогулины и меги русел и проточин сквозь леса столь хитроумны, а версты волоков, по которым надо было тащить лодки и клади на своих плечах, столь топки, водянисты, глыбасты и бродны, что только свычный местный человек и мог их осилить через комариный, мушиный и оводной край: но конторщику никогда не понять той надсады, в которой и выросстал русский характер и богатела Русь. Река Москва в тех местах наиглавнейшая, куда, якобы, приплелся во времена Ноевы сын Аяфета Мосох с семьёю; а ещё сплетались в общую хитрую сеть Неглинная и Клязьма, Шоша и Лама, Руза и Яуза, Вяземка, Вязь, Уза. Наверное, куда проще было объявить столицей Владимир или Тверь, Ярославль, Ростов Великий (были когда-то и они столицей русского королевства), Вологду, Киев, — но вот что-то не срослось, тайные пружины судьбы поставили главный город России в лесных дебрях, но для этого исполнения понадобился царь Иван Васильевич, когда через четыреста лет после гибели боярина Кучки и трагической смерти Андрея Боголюбского, владимирского князя, прославленного в синодике русских святых... стала Москва столицей великого государства.

Всё сошлось, вписалось в один лист; и несправедная гибель земского боярина Кучки Степана Ивановича, и кончина праведника святого Андрея Боголюбского, и прославление в первые русские цари Ивана Грозного, — год 1547, когда Москва воистину объявилась столицей нового царства. Будущее города вообще нельзя было разглядеть даже через сотню лет; и только через четыре века, — при Иване Грозном, — когда Русь слегка поуспокоилась, оправилась, укрепила границы, и в новую столицу для торговых дел перебрались с ближних городов, пригородков и слобод с приобретенных неисчислимых земель тысячи предприимчивого люда, чтобы обустроить нажиток и промысел под царским боком, — и увиделась Мо-

сква в сказочном и песенном образе. А тогда, во времена Юрия Долгорукого, когда братья Кучковичи, будто бы мстя за свою сестру Улиту и за убитого и ограбленного отца, зарубили Андрея Боголюбского, — это был местный кровавый спор за место под солнцем. Подобных случаев в те времена были сотни, но православная церковь, создавая новые святцы для христианского поклонения, выделила кончину владимирского князя в особенный помянник, и сотворила из Андрея Боголюбского смиренный, чистый образ для всеобщего народного поклонения. В его возвышении деятельное участие на архиерейском соборе принимал московский царь Грозный, отыскивая в «летописцах» особенные провидческие события из жизни владимирского князя и очищая судьбу богопоклончивого руса-скифа от слухов и мифов и наносной шелухи.

\* \* \*

Русская история порою немилостива и несправедлива к своим героям, но чаще забывчива и беспамятна. Владимир Креститель разрушил русское государство, с неимоверным упорством собранное его предками: он раздал его в уделы своим двенадцати сыновьям, ввергнув Россию в разладицу и рассорицу. Грозный же вместе с дедом Иваном Третьим и отцом Василием всё рассыпанное собрал вместе, и приумножил, вызволил из потёмок потухающие предания о когда-то великом русо-скифском королевстве, но до сих пор клеймят, хулят и чествуют Иоанна Васильевича в своём отечестве, как дикого варвара, кому что на ум взбредёт, лишь бы погуще смолы да дегтя подхватить помазом.

Язык — не базальт и не гранит, и не застывшая вулканическая лава, под которой медленно умирает навсегда остывающее пекло: это удачно выходявшее на горячей русской печи жилое тесто, готовое прокиснуть и протянуть ноги (и упасть); но вдруг выкинет наружу такую мудреную штуквину, чего никак не ожидаешь от покойника.

## 2

Несколько отвлекусь... О Москве в Европе услышали в 1439 году на Флорентийском соборе. (Иван Забелин. История Москвы.) Протестантский Запад, боязливо и ревниво косясь на Восток, с трудом уразумел, что на суровом Севере, на землях бывшего Велико-ростовского королевства, как бы из небытия, явилась в мир новая православная непобедимая сила. Ученые, зарывшись в книги, стали толковать происхождение северного племени. Историк Павел Иовий писал, обратившись за подсказкою к древнему Птолемию: «Думаю, что Птолемей под своими Модоками разумел Москвитян, коих название заимствовано от реки Москвы». В Синописе Иннокентия Гизеля «О наречии Москвы, народа и Царственного Града» приводились некие странности, смахивающие на дикие басни и шутейные побрехоньки, что «Наречие это Москва, от имени праотца Мосоха исшедшее», а дьякон монастыря на Мологе-реке превзошел Гизеля по смелости фантазии, дескать «Прииде же той Мосох князь Иафетович, шестой сын Иафетов, внук Ноя, господарь наш и князь первый в страну Скифскую... на места селения сего... И тогда сей Мосох князь Иафетович сотворил себе и роду своему первобытную селитву... над двумя реками... Мосох князь безымянную реку преименовал по имени

своему и жены своя, нарицаемые Квы. И тако по сложению имён князя нашего Моса и княгини его Квы и стала безыменная река прозванием Москва. Река Язуа получила название в честь детей Мосоха: сына «Я» и дочери «Вуза». И поставил князь Мосох малый градец и назвал Москвою».

И эти бредни, побасенки с умышленным подтекстом дьякона Тимофея Каменича-Рвовского, превзошедшего по богатству большой фантазии всех ученых Европы, не только не предали в России осмеянию, но и опубликовали в Петербурге, Москве и Киеве более десяти раз. И как-то никому не пришло в голову, по какой нужде этот побродяжка Мосох с семьею забрел в дикие медвежьи дебри, каким-то чудом отыскал безымянные реки именно здесь, куда можно добраться лишь зимою по льду, сел на вечное жительство среди диких зверей и стал «прародителем народов Московских, Российских, Польских, Волынских, Чешских, Мазовецких, Болгарских, Сербских, Карпатских; что река и град от народа Московского имя восприяли, что имя сие: Мосох, Мокус, Моска, Моски, Москорум, Москонитарум; что третий брат Леха и Чеха, Русь, истинный наследник Мосохов от Иафета, великия и пространныя, и восточныя, и к полудню страны размножил и населил народами русскими».

Много размышляли ученые, литераторы, монастырские иноки об этимологии понятия Москва, но так ни к чему ясному и разумному не протолкнулись сквозь словесные дебри. Но споткнулись и застыли в двусмысленном положении; а когда нечем подтвердить свои предположения, то берут проверенный довод: происхождение — угрофинское. И никто из добровольных начетчиков, проводников по русской истории, не пояснил, что название прадревнее, когда в северных дремучих всхолмьях, густо обметанных елинниками да сосенниками, жили скифы-арии от моря Сварожского до Камня (Уральских гор), и часто названия рек кончались на «га», или «ва» (Нева, Нарва, Непрядва, Москва. Или: Онега, Пинега, Волга и т.д.). Но я вдруг задумался, а что значит «Москва»? Наверняка, есть какой-то ускользающий смысл? В одной из былин, полной языческих древних смыслов, Москва-река зовется Смородиной, смердящей, овсянной густым ягодным духом. «Князь Роман жену терял; Жену терял, он тело терзал, Тело терзал, во реку бросал, Во ту ли реку во Смородину...»

Эта песня о печальном злосчастном самонадеянном похвалебщике-страннике, решившем идти по миру с котомицей куда глаза глядят, и вот на пути попалась быстрая река Смородина, которую не обойти — не объехать, и нет перевозу надежного, того самого лодочника Харона, который бы доставил на другой берег к райскому порогу к привратнику Петру. Не узнал наш молодец ходу-переброду, не искал и мосточка Калинова, но решил самонадеянно удариться напрямки и угодил, грешная душа, в бездонный омут, полный чертовщины.

И взмолился похвалебщик: «А и ты, мать — быстра река, К чему ты меня топишь?» Провещится быстра река человеческим языком: «Безвременный молодец! Не я тебя топлю... Топит тебя похвальба твоя — пагуба... Утонул добрый молодец Во Москве-реке Смородине...»

Река Смородина — огненная река течет в клубах смрадного серного пара, это мифическая граница между миром живых (явью) и миром мертвых (навью), берега этой реки усеяны костями павших, кто не смог переправиться на тот свет. Раскаленный Калин-мост был скован из меди, но кто сумел переправиться через реку Смородину (на этом их мытарства не кончались), — тех на другом берегу поджидали Кощей Бессмертный, Змий-Горыныч о трёх головах, Соловей Разбой-

ник. Калин Мост охраняла Мара (Морена) — сама Смерть. Илья Муромец спрашивал мужиков черниговских, как проехать в стольный град (Киев). Отвечал ему народ: «Да у той ли березы покляпистой, да у той ли речки Смородины, у того креста Леванидова сидит Соловей Разбойник, Одихмантьев сын». Её пересекала Василиса Никулишна, возле неё погиб Добрыня Никитич, на её берегах останавливался Левико, племянник польского короля, её преодолевал князь Роман Дмитриевич, обернувшись волком... «Свирепая река, самая сердитая». Одни находили, что вода в реке черная, другие — огненная. Над нею всегда клубилась морось, похожая на дым. Река Смородина сходна с рекою Стикс, которая у древних греков уходила под землю, в Аид. Окрестности Москвы были покрыты настолько густым лесом, что нельзя было проползти змее. Монголы, когда шли на Москву (Кучково), прорубали широкую дорогу, рядом могли ехать 3-4 повозки, перед городком в предместье выставили метательные орудия, через несколько дней проббили в крепости рубленую стену, овладели силою и сожгли, оставив за собой пепелище. От множества войска (сообщает очевидец) земля гудела и стонала, и от этого шума столбенели даже звери... «От скрипения телег, множества ревения вельблуд и ржания стад коньего... Погибло 270 тысяч человек (как уверяет летопись), у каждого убитого отрезали ухо». Не знаю, у кого монголы отрезали уши, у ослов или жеребцов, ибо в самом большом городе Европы Великом Новгороде обитало всего 28 тысяч населения. Отсюда и вывод, — сколько правды в летописях. Монах глянул в потолок, воскликнул: «Боже праведный... Проклятые агаряне, сколько горя принесли на Русь, сколько неисчислимых слёз и горей», и записал: «Да поди ж ты, пожалуй тысяч 270 станет погибших, ну никак не мене...» Отсюда и пошла эта цифра кочевать по письменной истории.

Может так и было, а может и нет... Время замывает следы минувшего, но памятная душа достаёт их из-под спуда. Так в мартовские утреники, когда появляется наст, из-под снега, как по щучьему велению, вдруг прорастают столбики заячьих, куньих, беличьих и лисьих следов, вроде бы давно канувших за метелями, и так странно смотреть на это чудо природы, зримо напоминающее о минувшем. Вот и сейчас трудно признать в этом свидетельстве, где правда, а где вымысел монастырского летописца. Ведь когда пришли алтайские скифы, прорубив дорогу сквозь дикие леса в тучах и тоскливом вое беспощадного гнуса, неотступно нависшего над головами (комары и мошка, осы, мухи, пчелы, оводы, пауты, от чьих щипков кровь заливала лица), от ржания обезумевших лошадей, воплей и криков пришельцев, добывающих из водомоин опрокинутые телеги, колымаги и проломные, стенобитные орудия, — весь этот скоп стремящихся к добыче военных людей конечно же представлял со стороны жуткое зрелище, ведь голосащая орда, оборванная и замызганная кровью и грязью, немилосердно приступающая на крохотный волостной городок Кучково, предместье Владимира, худо представляла из себя организованное войско, а скорее насельщиков подземного Аида, вырвавшихся из затвора наружу. Да и много ли могло сбиться народу за бревенчатой стеною из малолюдных в те времена деревенок в 3-5 дворов, чтобы дать отпор «монголам» — если всё население России было не более миллиона.

Любопытен такой вопрос: каким образом река Москва вошла в русскую историю в образе реки Смородины, почему крестьянский эпос избрал для неё такой необычный сюжет, и насколько из былины и сказки она перешла в жизнь? Пожалуй, ответить на эту загадку невозможно, летописцы обошли молчанием этот факт. Народ придал реке Москве необычные языческие способности волхования, разре-

шения судьбы, угадывания её, придал таёжной Москве, вроде бы лишенной всякого исторического будущего, эсхатологические черты греческой реки Стикс, которую надобно преодолеть, чтобы из «яви» переправиться в «навь». Хотя историк Забелин и считает, что все пути сходились на скрещении Москвы и Яузы, — и потому Москва стала столицей Руси, но подобных исторических росстаней и узлов на Руси не пересчитать, почитай в каждой губернии обихаживали свои волока и переволоки, ибо в те времена всеобщего бездорожья народ сообщался только водою. Но весьма спорно утверждение, что само местоположение, это скрещение путей во все стороны пространной России и сотворило Москву столицей. Да, торговля строит города, но столицы объявляет властитель, наместник Бога на земле. Если бы не так, то не отнял бы император Петр с такою дерзостью историческое право верховенства, право престольного города у Москвы и отдал Питеру; да и сколько было претендентов среди городов на русский Стол, чтобы перенять власть: и Владимир, и Тверь, и Великий Новгород, и Ростов Великий, и Киев, и Вологда.

Центральная Россия сразу отодвинулась от новой столицы на семьсот километров, а Питер не только открыл окно в Европу, откуда подули дурные ветры, напозла всякая шашель, налетело крикливое воронье и давай гадить, но и попала в тесные объятия прибалтийских «лутеров», католиков и протестантов, с кем бились два века... Вроде бы император затеял город «назло надменному соседу», и получил в отпор постоянное крикливое раздражение, новый тип чиновника с испорченной душою, городского человека-письмоводителя, одетого в черный сюртук, неприязнь к своей родине и отвращение к языку. (Петр Первый поездил по чужим землям, насмотрелся на аккуратные городишки, одетые в камень, напился протестантской веры и нравов, и всё иностранное с какой-то умильной радостью и нижайшим поклоном пред чужими обычаями приволок в Россию, прогнал патриарха, обезязычил, передел дворянство, и стал круто иначе великое государство на восторг хитровану и подлому чужеземцу, давно ждущему подобной минуты всеобщей перетряски. И родной дом на два века сразу стал чужим и холодным.)

# ПОЭЗИЯ



*К 75-летию известного русского поэта и просветителя*

**ГЕННАДИЙ ГАЙДА**



«И повеет страну иною...»

---

ГАЙДА Геннадий Михайлович (1947–2008). Родился в Иркутске. Служил на атомном подводном флоте на Тихом океане. Работал мастером производственного обучения, редактором отдела книжной рекламы, литературным сотрудником Бюро пропаганды художественной литературы Иркутской писательской организации, сотрудником отдела поэзии и членом редколлегии журнала «Сибирь». В 70-е годы XX в. был участником творческого литературного объединения «Парус», действующего с 1935 года, при редакции газеты Иркутского авиазавода, через которое прошли многие известные иркутские писатели. Преподавал в Иркутском институте усовершенствования учителей. Участник празднования ежегодных «Пушкинских дней» в городе Иркутске и на БАМе; «800-летия Слова о полку Игореве» (Иркутск, 1985). По благословению архиепископа Хризостома, стал организатором и ведущим праздника «1000-летия крещения Руси» (Иркутск, 1988). Читал лекции по русской поэзии (Борис Пастернак, Марина Цветаева, Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Юрий Кузнецов и др.). На общественных началах провёл более 200 лекций, посвящённых творчеству Юрия Кузнецова. Вместе с В. Распутиным, В. Трушкиным входил в Клуб книголюбов, которым руководил М. Сергеев. Участник творческих встреч и концертов для ветеранов, пенсионеров, трудовых коллективов, студентов, учащихся и заключённых. Организатор выставок картин местных художников. В конце 90-х годов был одним из инициаторов и организаторов «уникальной» выставки рогов животных, охотничьи трофеи — экспонаты для выставки собирались более 30 лет. Несколько лет вёл на ИГТРК авторскую телепередачу «Классическая лира», посвящённую русской поэзии. В 2000 году, в год столетия со дня рождения поэта Михаила Исаковского, Геннадием Гайдой был подготовлен и выпущен сборник стихов М. Исаковского «Одинокая бродит гармонь... Стихи, ставшие песнями», а также проведены вечера памяти поэта-песенника М. Исаковского. Стараниями Геннадия Гайды в Иркутске были установлены в 2003 году — памятник драматургу Александру Вампилову, в 2010 году — бюст Александру Сергеевичу Пушкину (оба памятника работы московского скульптора Михаила Переяславца). При его участии в городе Черемхово возвели памятник подводникам подводной лодки «К-129». По его инициативе и при его активном участии были установлены мемориальные

доски меценатам, купцам, писателям, поэтам, государственным деятелям, авиаконструктору Михаилу Миллю, адмиралу Геннадию Невельскому в городе Иркутске и в городах Иркутской области: Черемхово, Тулуне, Тайшете, Братске. В конце 90-х годов заслуженный художник России Владимир Кузьмин написал портрет поэта Геннадия Гайды. Шарж на Г. Гайду работы Владимира Скурихина (Иркутск, 2001) вошёл в серию шаржей литераторов Иркутской писательской организации. Награждён нагрудным знаком «За дальний поход», медалью «Ветеран „Холодной войны на море“» и почётной грамотой губернатора Иркутской области (2007). Член Союза писателей России.

\* \* \*

Над ангарскою, над быстрою водой  
небо цвета вольности молодой.  
И сама собой влекомая вода  
неизменно, вдохновенно молода.

Чтоб не старились ни сердце, ни душа,  
прихожу сюда прохладой подышать.  
И светило осеняет с высоты  
половодье первозданной чистоты.

И в стремнинах ледяного хрусталя  
светоносные прозрачности стоят.  
И течением несомо в предвечерие  
глубины речной остатнее свечение.

Устье — в вечности, и в вечности — исток.  
Миллионы лет немеркнувший поток.

\* \* \*

*Б.М. Архипкину*

Оперённые белым кусты,  
оперённые белым деревья.  
И провидишь ты чувством (шестым),  
как нетленные крылья чисты,  
как слова фарисеев густы  
и пусты закрома недоверия.

И ты вновь уповаешь на Чудо  
и чураться чар колдовства.  
И прозренья придёт ниоткуда,  
возрыдает недавняя удаль —  
сам собой наказуем Иуда.  
...И восходит звезда Рождества.

## Окраина

Перламутровым перистым облаком  
небосклон живописно горит.  
Вечереющий город всем обликом  
о покое мирском говорит.

В этот час в переулках укромных  
тишина принимает парад.  
Тополей непроглядные кроны  
выше крыш неподвижно парят.

И забытая патриархальность  
с нами делит янтарный уют.  
И над ним, хлопотливо порхая,  
нимфы быта, как пчелы, снуют.

...И повеет страною иною,  
и провеет укладом иным  
в эту брешь между спешкой дневною  
и разбойным разгулом ночным.

## Росстань

Осени меня, осина,  
не перстами, так листвою,  
проводи меня, как сына,  
у обочины постой.  
Горе — горем,  
счастье — счастьем,  
доли вдоволь и юдоли вдоволь.

Я согрет твоим участием  
и твоей заботой вдовьей.  
Расставанье — не поминки,  
ты не мать и не жена,  
что ж твои листья поникли,  
словно ты обожжена  
зимним воздухом? Разлука  
иль осенняя разруха  
вдруг твоих коснулась веток?  
Но не в силах дать ответа,  
не всплакнет она, не всхлипнет,  
на ветру вздохнет — и стихнет.  
В шуме лиственном смешалась  
с болью нежность или жалость.  
У осины к человеку  
бабья нежность, бабья жалость.  
Так уж принято от веку,  
чтобы кто-то провожал вас,  
не сосна, так пусть осина  
или пусть безвестный куст,  
не Сибирь, так пусть Россия,  
не Москва, так пусть Иркутск...  
Осени меня, осина,  
не перстами, так листвою,  
проводи меня, как сына,  
у обочины постой.

\* \* \*

Перепутья, перелески, переправы,  
перекаты, переклики, перезвон...  
Победители, как правило, неправы,  
и блаженны побеждаемые злом.

Перегоны, переезды, переулки,  
перестройки, переделы... Мой родной,  
близорукостью страдают все науки,  
кроме свыше нам дарованной, одной.

Перемены, перерывы, переломы,  
пересуды, перепевы, перевсё.  
Решетом черпнёт блаженства — вероломный,  
чистой пригоршней — кто зло в себе пресёк.

В зрелость в муках переходят переростки;  
с тьмой обнялся в рукопашной Пересвет.  
Дай в дорогу мне на людном перекрёстке  
слово доброе да ласковый совет.

\* \* \*

Нас не на что было отправить на юг,  
нас не к кому было отправить в деревню,  
но в тесных дворах находили приют  
собаки и кошки, кусты и деревья.

Где тополь столетние корни корёжил,  
впервые пришлось нам увидеть живых  
и бледных капустниц, и сороконожек,  
и в лужах прогретых червей дождевых.

Для нас распевали непевчие птицы,  
для нас в тупиках сорняки расцветали,  
и с птицами вместе гнездясь, небылицы  
под нашим безоблачным небом витали.

Восторги срывали оконные створки.  
В сыновьих забавах — суть отчей заботы.  
В линялой, но ладной своей гимнастёрке  
отец по ночам возвращался с работы.

Простые и грешные наши родители,  
в великой священной войне победители,  
врага одолев, одарили наследством —  
без позолоты немеркнувшим детством.

В надсадном труде с затаённою болью  
вы нас от беды заслоняли собою.

\* \* \*

Под негреющим солнцем, средь белого дня,  
зябнет яблоня в белом наряде,  
как невеста, что свадьбе не рада.  
Словно осень, весна холодна.

И дриада<sup>1</sup> под яблоней мёрзнет одна  
и не ждёт ни улыбки, ни взгляда.  
Что ей эта минутная радость?  
Словно осень, весна холодна.

Если сердце промёрзнет до самого дна,  
нежность в нём и следа не оставит,  
и за лето оно не оттаёт.  
Словно осень, весна холодна.

Жизнь с утра деловой суете отдана.  
Но преследует фраза, как бред:  
«Мир бездомен и не обогрет...»  
Словно осень, весна холодна.

Под негреющим солнцем, средь белого дня,  
зябнет яблоня в белом наряде,  
как невеста, что свадьбе не рада.  
Словно осень, весна холодна.

\* \* \*

Земля замрёт (чтоб лишь к весне очнуться),  
не чуя жизни и не видя снов.  
уйди в себя, чтоб с радостью вернуться,  
умри для всех, чтоб возродиться вновь.

Что ни таи, всё выкажет бумага —  
излей себя, не бойся обмелеть.  
Пускай стихи предвосхитит отвага  
ещё при этой жизни умереть.

\* \* \*

И вот на чучеле свободы  
бессменной пошлости печать.

*В. Набоков*

Свободу трубят!.. И вот-вот я завою  
от этих хвалёных, казённых свобод.  
Души и на час не отпустишь на волю,  
душа за проценты пошла в оборот.

Пуста суета и бессмысленна давка,  
дышать не под силу — не то, чтобы петь.  
И хитросплетённых финансов удавка  
сменила марксистской опричнины плеть.

---

<sup>1</sup>Дриада — в древнегреческой мифологии лесные нимфы, покровительницы деревьев.

И нудит фигляр, повелитель оваций,  
на жертвенник пошлости жизни сложить.  
Чтоб выжить, ты должен к корыту прорваться,  
Ему поклоняться и верой служить.

\* \* \*

...и с молитвой бессловесной	есть ещё земля такая,
Я к тебе, Отец Небесный,	не забыт ещё Язык.
На рассвете устремлюсь:	
«Обрати свой взор на Русь...	Для униженных Радетель
	створы Света растворит —
Никому не потакая,	грех на нас, но мы же дети,
оберни незримый лик —	а не пасынки Твои».

## Архистратиг

*о. Калиннику*

Не каждый, имеющий крылья, крылат,  
не каждый и доблестный равен тому,  
кто с неба сошел и сиянием лат  
отринул, явившись, кромешную тьму.

Луч света дрожит в его чутких перстах,  
и время не в силах его притупить.  
Ползучее зло и языческий страх  
воспрянут из праха, чтоб вновь отступить.

Над прорвою всех преисподних глубин,  
увенчанный славою горних вершин,  
стоит сей воитель  
непоколебим,  
и что совершил, —  
навсегда совершил.

\* \* \*

Словно хлопья сажи над пожарищем,  
вороньё клубится над жнивьем.  
Всей тоской стремлюсь к друзьям-товарищам:  
как ни горько, всё же мы живём.

Нашей горькой верою поруганной,  
Нашей дольней верой в россиян.  
Миром взыщем, чтобы над хоругвями  
лик Пречистой Девы воссиял,

чтобы Богоматерь распростёрла  
над страной спасительный покров,  
чтоб с лица сирот своих отёрла  
слёзы, грязь, озлобленность и кровь.

Над разрухой рея, взгляд утешен —  
снег пошёл на праздник Покрова.  
Ходит совесть странницею пешей,  
честь — чиста,  
и праведность — права.

\* \* \*

Горизонтом ходят грозы,  
но поля снедает зной.  
Здесь угрозой на угрозы  
злому зло ответит злой.

И сочится, сякнет силища —  
созиданье не с руки.  
Вырвавшимся из узилища  
приготовлены силки.

Здесь куска лишают старость,  
соблазня мир куском.  
Что с родством и братством стало?  
Здесь — разлад, раздор, раскол...

Ложь гремит, грохочут танки —  
рвут на части белый свет.  
Здесь душе, как христианке,  
места не было и нет.

\* \* \*

Страданьем душу высветить до дна...  
И мать, и жизнь, и родина одна.

Как благо безысходность принимать...  
Одна и жизнь, и родина, и мать.

О безвозвратность времени, вершись!  
Одна и мать, и родина, и жизнь.

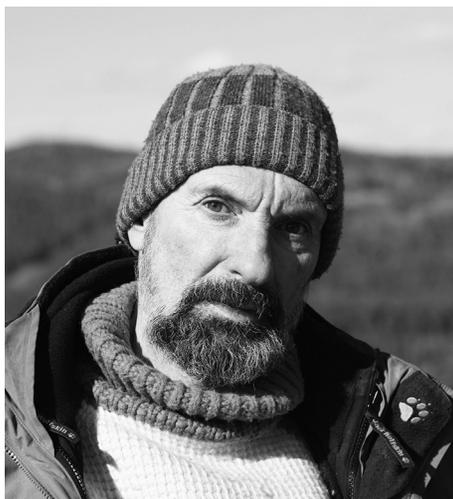
Едина вечность и единствен миг —  
к потоку всяк единожды приник.

Единственность — вот мера всяких мер  
среди пустого множества химер.

Единственности славу воздадим!  
И Бог един, и человек един.



## МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



### День рождения

Отрывки из будущей книги  
«42-й до востребования»

Дверь нашей общей квартиры отворялась в длинный коридор с дощатым полом. Слева он почти сразу же выходил во внутренний двор к моим окнам, а справа тянулся мимо других дверей к улице. Был он тёмным и бесконечным, а когда кто-то отворял уличную дверь, его даль вспыхивала ослепительно-ярко. И становились видны длинные и узкие половицы, рельсово уходящие в лучистое марево.

По левую руку жили работницы Гипрожира, приехавшие из деревень. Их квартира звалась Общежитием. Была среди них тётя Надя, сутулая, худощая, скуластая, как кошка, и с чёрно-жгучими глазами. Бегала она в красно-зелёном халате с засученными рукавами.

---

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович, поэт, прозаик. Родился в Москве в 1958 году. Окончил МГПИ им. В.И. Ленина по специальности «география, биология». В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал полевым зоологом на экологической станции, затем охотником-промысловиком в Южно-Туруханском госпромхозе. Там начал писать стихи. Окончил заочное отделение Литературного института им. Горького. Автор стихов, рассказов, очерков и повестей. Главная тема творчества — корневой русский человек на берегах Енисея. Лауреат литературных премий: журнала «Наш современник», премии сайта «Русский переплёт», «Ясная Поляна», Патриаршей премии по литературе 2019 года. Произведения публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Литературная учёба», «Согласие», «Ветер», «Октябрь», «Новая Юность», «День и ночь» и др. Является президентом фонда В.П. Астафьева. Главный редактор альманаха «Енисей». Живёт в Красноярске и в селе Бахта Туруханского района.

Первый свой день рождения запомнил так: иду по коридору в сторону улицы. Из общежития выскакивает кошачье-скуластая тётя Надя. Я заявляю:

— Мне три года.

Она отрезает:

— Год.

Почему «год»? Почему так отрывисто и голо? Может она и другое сказала, но близких рядом не было и свериться не с кем. Да и смотрел я на мир, как сквозь цветной холодец. Вздрог, неверность движений, их пробность. Было — не было...

Я родился и вырос в Замоскворечье в деревенских почти переулках. Жили мы в двухэтажном доме — кирпичный штукатуренный низ и бревенчатый верх, крашенный сочной коричневой краской. У нас были две комнатёнки на первом этаже в общей квартире. Там жили: Бабушка Вера, моя прабабушка. Мария Ивановна, её дочь — и моя бабушка по матери. Мать с отцом и я. Родители работали, пытались снимать комнату неподалёку, а потом получили квартиру в другом конце города. Грузную и полуслепую Бабушку Веру переселять на пятый этаж без лифта было и в помыслах нельзя, да и бабушка Мария Ивановна хотела жить отдельно. В сад меня не отдавали, поэтому до пятого класса школы я прожил с бабушкой Марией Ивановной. Именно она и стала моим непостижимым и кровным человеком.

Название Щипок происходит от слова щипать. Бабушка говорила, что здесь на заставе щипали купцов, въезжающих в город. Я представлял, как вдоль дома идут обозы, и как их останавливают, и хоть и понимал, что щипаньем называлось таможенное обирание, всё равно хихикал, представляя, как толстого купца щиплют за бока, а он елозит, жмётся и тоже хихикает. Потом вычитал, что щипком или щупком называли палку, с помощью которой будто щупали контрабанду — протыкивали сено.

Переулка Щиповских было два — один, умеренно кривой, на котором мы и жили, а другой совершенная загогуля, как обведённый палец — Второй Щиповский. Он был натуральная деревня: земля, избёнки, заборы. Колонка с пенной водой и на её ручке канавка для ведёрной дужки.

Дверь коридора выходила в проулок. Взгляд упирался в старинный, штукатуренный жёлтым гараж. Проулок соединял ворота Гипрожира и Щиповский переулок. Вышел из двери и справа — Щиповский.

На той стороне Щиповского был магазин с деревянной застеклённой дверью. И сама дверь, и косяки — жёлтые, толстые и скрипуче притёртые друг к другу. Открывалась дверь с заунывным пением. Магазин звали «Напротив». Правее через дом или два — роддом, серое прихотливое зданьице с деревьями в палисаднике. Мне он очень нравился, и я всё недоумевал, почему не в нём я родился. Там была женская больница, а роддомом его звали по старой памяти.

Родился же я в роддоме на Шаболовке. Бабушка проглатывала гласные, рубила «крандаши», «универстет», «Шабловка». Я много лет так и говорил «на Шабловке», и с удивлением узнал, что улица эта именно Шаболовка с каким-то болтающимся «о» посередке.

Маме в роддом дед прислал телеграмму: «Поздравляю маленьким хорошеньким». Незадолго до родов мать с дедом выбирали мне имя по Святцам и решили назвать в честь Михаила Архангела, Кутузова и Лермонтова. Я долго считал это заслугой бабушки.

## Миванна

Бабушки у меня три: первая — прабабушка Бабушка Вера, вторая — отцова мать бабушка Мария Макаровна, и третья — бабушка Мария Ивановна, главная моя бабушка. О ней и книга.

В квартире ещё две семьи. Тётя Настя с Алексей-Сергеичем, у которой мы смотрим парад по телевизору, огромному, с увеличительным стеклом на лапках, похожим на иллюминатор. Если заглянуть сбоку — экранчик совсем маленький.

И тётя Маруся с дядей Серёжей. Сергей Анисимович из Сибири родом — худощавый, длинный, прямой, как молоток. Угловато-локтястый. Лицо суховатое шукшинское, но морщинистей и сердитей: напряжённое, сосудистое, темноватое, с красными небольшими глазами. Он работал слесарем и выпивал. Мне он казался родственным латунному крану над кухонной раковиной.

«Мари-Ванна, к телефону!» — на всю квартиру кричит тётя Маруся или тётя Настя: телефон висит в прихожей между их дверями, чёрный и будто костяной. И я подхватывал истошно: «Миванна! Миванна!»

Миванну я звал Моя Бабушка, или бабушка, или, когда подрос, «ба», и очень дивился, когда другие называли её «Маша» или «Маруся». Маша ещё как-то шло, а «Маруся» представлялось чем-то розовым, поросёночным, к которому смешно примешивались «трусика», и ещё что-то мокрое, утреннее, какие-то «росы». Соседка тётя Маруся была полная и носила халат в красный горошек. С сухощавой и аскетичной бабушкой это никак не вязалось.

Удивительно насколько не походила Миванна на Бабушку Веру... Бабушка Вера «мягкая», а Миванна «сухая», но сухость лишь внешняя. Про бабушку Миванну говорили, что и резкая, и категоричная, и середину не держит. Ничего этого не видел и знаю доподлинно: выше всего ставила доброту, такт и воспитанность — не в смысле манер, а как человека не обидеть, не поставить в неловкое положение. Если подарили игрушку, а такая уже есть — не смей проболтаться: человек «старался, искал», покупал, вёз, хотел порадовать... Упор на слово «старался». «Стара-а-ался...» — с потяжкой, почти с жалобой...

Родители откуда-то приехали, возбуждённые, вечерние. У мамы блестят глаза. Где-то они были в каком-то месте, где люди, освещение, еда да питьё. И в подтверждение этому мама ставит на стол коробку красную с оленем — набор шоколадных конфет. Стол овальный, с резными ножками, коричневые завитушки. И конфеты тоже есть овальные и коричневые, есть квадратные, и среди них и бутылочка — завёрнута в золотую бумажку. Я умудряюсь до неё добраться и съесть. Внутри сладко-терпкая густая жидкость, шершавинка шоколадных стенок изнутри.

— Мама, я съел бутылочку — докладываю я.

— Там же ликёр. Ну всё. Теперь ты будешь пьяным, — говорит мама.

Рот мой неуправляемо искривляется, я реву и бегу к бабушке: «Бабушка-а-а! Мама сказала, что я буду пья-я-я-яный!»

Мама бросается за мной. Бабушка накрывает меня рукой и морщась, рьяно машет маме, мол, иди, иди, разберусь. Когда мама собирается заплакать, её подбородок берётся мелкой ямкой — как персиковая косточка. Вот и сейчас намечается косточка, и мама убегает.

Бабушка меня утешает. Я спрашиваю:

— Бабушка, я теперь умру?

— Нет. Нет, конечно... Не плачь...

Утешает негромко, но без сюсюканья.

— Ты до-о-олго будешь жить... — добавляет задумчиво, как в сказке.

И вдруг зачарованно:

— В двадцать первом веке тебе будет сорок два года...

Серьёзно говорит, чуть мечтательно, но без намёка на сожаление, на жалость, что её не будет. Как в дорогу собирает. С тихой радостью оттого, что дойду в такую даль, и за неё другие времена увижу. А я леденею оттого, насколько буду пересохло-старым, и в слове «сорок» чудится рок.

Плачу и мне хочется спросить:

— Бабушка, а ты-ы-ы?

И не спрашиваю.

## Ручка двери

Бабушка Вера была полная, несбитая, крупная и, если взять главное слово — мягкая. И выражение лица мягкое, и тело в байковом халате, и сам халат безвольно-мягкий на ощупь — бежевый с какими-то не то фасолинами, не то инфузориями. Узнал потом — узор звался «турецкий огурец».

Сидит на истёртом диване: перед ней палка, будто воткнутая, одна рука держит чёрную рукоятку, другая бесконечно трёт руку, оглаживает моющим, втирающим движением. Бабушка Мария Ивановна раздражается: «Мама, ну что ты всё трёшь! Перкрати!» «Перкрати» — именно так мне слышится. Что она приходится Бабушке Вере дочерью, я не понимаю. Слишком сложно — двое пожилых людей, и оба настолько разные, и так непосильно уходят вдаль своими жизнями, что постичь ещё и их взаиморасположение не под силу.

Когда полвека спустя я увидел Бабушки Верину фотографию — коричневую, перечёркнутую складкой, как молнией, — то мне будто глаза вскрыло. Накатило далёким, каждодневным, прикипелым, связанным с тем трудным, что несёт в себе человек и что выражает его лицо, и особенно глаза. Глаза были большие и грустные. И в складке рта будто упрёк.

Бабушка Вера всё забывает. Родственница привезла из Малоярославца бочонок с огурцами. Когда огурцы кончились, Бабушка Вера продала бочонок соседке тётё Ане Ткачёвой, денег всё время не хватало. Тётя Аня вынесла его к нам под окна распарить: положила можжевельный веник, лила кипяток, а потом, когда забух, опростала и оставила сохнуть. Бабушка Вера увидела и забыла, что оно уже не наше, да и прибрала. А когда тётя Аня пришла — заплакала от стыда. Извинились, отдали.

Я застал Бабушку Веру, когда глаза её совсем ослабли. Один пришлось удалить, как в мореке помню — ездили с мамой в больницу на операцию. И пронзающее ощущение, что Бабушку Веру — еле ходящую, грузную, с палочкой, повезли на что-то кровавое, туда, где боль и блестящее лезвие.

После операции у Бабушки Веры появилось вставное око. Маленькое, как фасолина, вогнуто-выгнутое — тусклая раковинка. Она его вынимала из-под века, и там зияло красно и страшно, а глаз жалко лежал на столе на блюдечке.

То ли я был не готов слушать, то ли Бабушка Вера мало говорила, но рассказов её не помню. Помню отдельные выражения.

«Бывало...», а дальше что-то про Николая Матвеевича, её второго мужа. «Подрубила» — подшила себе халат или сарафан бабушке. (Непонятно, что она умудрялась ещё видеть своими глазами.) «Кадетский корпус» — там учился её отец Николай Васильевич.

Сижу за столом и мажу по тарелке манную кашу, в ней тает сливочное масло, и мне кажется, топлёное солнце проливается сквозь манное облако. Бабушка Вера увещевает, ну давай, «ложка за ложкой», «ложка за ложкой». Что-то невыносимо эпическое в этой «ложка за ложкой» — как детская серия «Книга за книгой».

Много ещё всего говорила... Когда поранюсь и мне забинтуют палец — я «раненый маркитант»...

«Смеётся во всю пасточку». «Белеет парус одинокой». «Инфаркт — трещина в сердце». «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Четверг». «Помолилась». «Бальзак распух от кофе». Почему Бальзак, потому что когда-то бабушка Миванна всё-таки варила себе кофе, а мама доедала гущу из чашки. Ей не разрешали и придумали объяснение: «Бальзак распух от кофе».

Бабушка Вера молилась каждое утро и вечер, а в особых случаях, когда, например, мама сдавала экзамены, и днём. В её углу за зеркальным старинным шкафом висели иконы. Среди них была та, которой родители благословили Веру на брак. Знамение Пресвятой Богородицы — младенец по центру. Когда-то родители поймали её в Оке неподалёку от своего имения в Лихвинском уезде Калужской губернии. Была она настолько стара, истёрта и измыта, что ничего нельзя было на ней различить. По просьбе Верининой матери московским мастером икона была перекрыта Знамением Богородицы и забрана в оклад.

Бабушка Вера вставала рано, молилась, заправляла постель, причёсывалась. Жила своим порядком, подрубала, как сарафан, заправляла сама себя, как кровать, заботливо, хозяйски-твёрдо, кротко. И также кротко и образцово отчитывается не то перед нами, не то ещё перед кем-то: «Сходила в церковь», «Слава Богу», «Бох»...

А я представлял, как на облаке сидит невысокий лысый старичок с белой круговой бородкой и добро морщится лицом, и однажды, придя из школы, заявил окрылённо-вызывающе: «А Бога нет!» Не помню, чтоб кто-то меня осадил. Ни раздражения, ни досады, ни отчаяния, связанного с бессилием пред слепотой неведующего. Отпусти им, не ведя бо, что творят.

Ещё я мучил Бабушку Веру дверью. Это была дверь в наши комнаты из общей кухни — в квартире жили ещё две семьи.

В кухне была оббитая эмалированная раковина и латунный кран. Он ожесточённо гнал вспененную воду. Наша дверь была точно напротив крана и имела латунную затёртую ручку.

Стою мою руки под злющим краном и вдруг слышу за нашей дверью шарканье, стук резиновой наболдашки. Бросаюсь и, схватив ручку, держу дверь. Бабушка Вера не понимает, что происходит, всё сильнее тянет, силится открыть. Бывало, тянет одной рукой, а другой держит палку, или палку отставляет и тянет двумя, и я слышу, как палка падает. Даю слабинку, чтобы Бабушка по сильнее упёрлась, взвисла всем телом... И отпускаю. Слышу топот веерной попятки, грохот палки, оханье, а бывало паденье. Сколько мне — лет шесть?

Под конец жизни у Бабушки Веры началась тяга к странничеству. Много гуляла, говорила, что хочет в дом инвалидов, просила милостыню на улице и покупала в магазине «Напротив» рассыпные леденчики, которые складывала в же-

лезную коробочку. Я её, полуслепую, пугал — соберётся сесть на диван, я тотчас подбегу и лягу, подсунусь под неё садящуюся. Она вскрикнет — а я смеюсь «во всю пасточку!» Она охает и тут же угощает цветными леденечиками, говорит: «Монпансье».

Как-то пошли с бабушкой Марией Ивановной гулять на Ленинский скверик. Зима. Ёлочки, фонари, дорожки с ледяными полосками — словно чёрные ножи в заморожены. Деревянная горка. И вдали в самой глубине за деревьями — замороженное пространство, странная жёлто-зеленоватая стенка. За ней не то лес, не то что-то вовсе неведомое. В центре же скверика откосик — мы катались с него на санках.

На скверике гуляет с рослой мамой мальчишка, по возрасту меньше меня и будто чуть малохольный. Имени не помню, может Андрюша или Алёша. Я заведовал, заставил играть в прятки. Выпала мне вода, и нашёл я Алёшу под первой же ёлкой. Он сидел ко мне спиной и возил палкой по снегу. «Теперь твоя вода! Считай!» И бегу прятаться. Первая ёлка, вторая, третья — метнусь, прилажусь — нет, не то. Ближе. Несусь дальше, пока загадочная зеленоватая стена не замаячила. Зачарованное место... Бегу вбок, перебегаю какую-то дорожку натопанную. «Отлично!» Она будто отсекает меня. Сел за ёлкой. Пыхчу. Жар под шапкой. Вожусь головой, шапка чуть отстанет — холодит. Поправляю льдистой vareжкой... Задерживаю дыхание, не скрипят ли шаги. Не скрипят. Замираю... Жду... И вдруг — как вечность отлигнуло... Сон — не сон... Сам в себе всплываю, не пойму ни кто я есть, ни что за всплытие... В детстве у меня это называлось «мне кажется, что я не я»... И вправду: что есть я? И кто меня в меня вставил? Кто... вообще на вставке?

Уже совсем синё вокруг. Я очнулся, встал, побрёл, упёрся в ту самую бледно-зелёную стену, потом вернулся и пошёл в другую сторону, попал на незнакомую дорожку, уже широкую. За ёлками огни, яркие, как ацетоном протёртые, но светятся как-то не с той стороны. Наконец выбегаю к горке, а там никого. Бегу по нашей дорожке — никого. Отчаяние двойное: что нет бабушки, и что виноват и мне всыпят.

Отходила ли бабушка через дорогу в керосинную лавку, оставив меня при Алёше и его матери? Не вспомнить. Она искала меня по всему скверу, и мы, скорее всего, ходили друг за другом кругами. Вдоль главной дорожки фонари — огромные тюльпаны с мутным бутонем. Включались на самой границе сумерек, долго подрагивали, разгорались малиновыми всполохами. Наливались холодной синевой, неряшливо и бледно слабеющей к верхушке, а два или три так и моргали, тикая и еле тлея. Под фонарями мы и встретились. Бабушка шла навстречу, а я бежал, раскрыв руки, и ревел. Лицо трясётся, и горячая гримаса рёва как-то отдельно от лица, и подвывка тоже со стрясом идёт... Алёша, оказывается, просто ушёл, и не искал меня. Мама за ним уплелась.

Домой притихший шёл рядом с бабушкой, как называла бабушка, «прижав уши». Особенно прижал, когда проходили отделение милиции.

Дома беды не закончились. Потерялась Бабушка Вера. Родители жили через город в Марьиной Роще, а мама время от времени работала неподалёку от нас. Перед работой зашла к нам на Щипок, сварила суп и ждала Бабушку Веру с прогулки. Та не возвращалась. Обежав и магазин, и дворы, мама пошла в ту самую милицию. Там ей сказали, что приходила старушка с палочкой, говорила, что потерялась, что бездомная и хочет в дом инвалидов. Её отправили в детскую комнату милиции, как раз в ту самую Марьину Рощу, откуда мама и приехала.

Мама помчалась... В детской комнате сидела Бабушка Вера, слепая на один глаз, с палочкой, в чёрном драповом пальто... Мама бросилась: «Бабушка, ну что же ты?» Та: «Мариночка!» Обе плачут. «Бабушка, ну как же ты... ушла от нас?» «Ну так вот... так... взяла и пошла»...

Дома Бабушка Вера была особенно тихой. Перед сном меня отправили мыть руки, но я, едва намылив их, услышал за дверью знакомый шебарток — Бабушка Вера нашаривала потустороннюю рукоять. Я бросился к двери и мыльными руками вцепился в латунную ручку. Упёрся, чуть дал слабины, подсёк Бабушку Веру, и ждал, пока она включит в борьбу весь свой вес. Натянув дверь, как тетиву, я отпустил, и Бабушка Вера упала. К её причитанию примешался металлически-гулкий звук. Она несла свой ночной горшок в уборную.

До сих пор не знаю точно, следует ли детей лупить...

Если есть Рай и ад в самом детском виде, то представляю его в виде двух смежных помещений. Меж ними дверь с затёртой латунной ручкой. Я вишу на ручке и кричу: «Бога нет!», а Бабушка Вера силится открыть дверь и пустить к себе: «Бож есть!»

## Голоса

### 1

Дом тёти Гали не помню, зато саму её вижу, как сейчас: широкоскулую, с металлическими зубами. Муж — живейший, небольшой и беззащитно лысый мужичок, похожий на актёра Леонова. Лысость особенно безоружная, горькая. Лысина старательно перекрыта жидкими прядями. Представился: «Владимир Ильич», — и с извиняющейся улыбкой добавил: «Но, ць, не Ленин». И развёл руками.

Оба несказанно нам рады, тётя Галя улыбается железными зубами, ведёт за стол, а там варенья, черничные, сливовые, яблочные — крупными мутными кусками в хрустальных вазочках. Владимир Ильич возбужденно улыбается, шумит и налегает на зеленоватую поллитровку. Он шофёр грузовой машины и рассказывает, как весной проваливаются машины на переправе через Волгу. Как сам провалился, вылез уже под водой из кабины и не мог выбраться, тыкался в лёд головой, а я представлял, как он долбит лысой головой, а лёд не пускает. Раскрасневшийся Владимир Ильич говорил со страстью, с интонацией «от как бывает», «всякое приходилось», и в каждой истории звучало жаркое требование какого-то высшего, последнего объяснения произошедшего, чего-то такого, где не ищут виновных, а лишь дивятся, как знамению или знаку.

Рассказывал ещё историю, довоенную. По весне бывают морозцы после оттепели. Таким морозным утром шёл он льдом по конскому санному следу. И будто след оборвался, и он увидел мёрзлую мешанину льда и перед ней оторванные конские уши. «Я как представлю, как он тащил её! — заматов головой, вскрикнул Владимир Ильич и, хлобыстнув ещё рюмку, заел капустой, — Кормилицу!» Тётя Галя, едва он начал рассказывать, толкала в бок, зачем, мол, при ребёнке. А Ильич, закусив, грозно глянул на меня красными округлившимися глазами и, стукнув кулаком, рыкнул: «Пусть знает!» И несколько раз рыскнул глазами вправо-влево.

А потом вышел и вернулся с гармошкой. Прежде гармошку я слышал только на улице, а тут обрушилась на меня и её непривычная для помещения громкость,

жилистый напор. И ощущение, что музыка идёт сочным пучком, вкачивая в жизнь если не театральное, то что-то несомненно высшее по весу и остро противоположное обыденному, прозаическому...

Пел Ильич мало — больше играл, подстанывая, отклоняясь корпусом, напряжённо доигрывая лицом, которое даже тиком бралось в особо трудных местах мелодии.

Сидел он рядом со мной, и было два звуковых слоя: где-то шла музыка, а совсем близко пуговично клацали кнопки. Особенно это слышалось, когда, играя плясовую, он набивал по пуговкам кистью, и они отзывались сухой чечёткой.

Меха гармошки были не раз помяты и, когда Ильич тянул, то одно особо измочаленное место мятым треугольничком всасывало внутрь. Запомнилось именно ближнее — жизнь пуговок, мехов. Сама музыка ещё скользом шла, и из глубоких впечатлений осталось, пожалуй, одно: когда зазвучало нечто торжествующее, монументальное, снежно-дорожное... Что это было — «Степь да степь кругом» или и впрямь Свиридов, не знаю. Помню только, что музыка ни рекой текла, ни потоком. Она ликующе стояла завесой.

Он снова заиграл, но вдруг прислушался, замер и поставил гармонь на табурет. Принёс трёхкопеечную монетку, заточенную с одного бока, отвернул ей шурупы и разобрал гармошку. Открылись бумажная изнанка мехов, деревянные комнатёнки с планочками... Что-то в них вывалилось. Несмотря на несовместимость пересохлого гармошкиного нутра с водочной дрызглостью Ильича, он уверенно и осторожно выудил упавшую рамку, поставил на место и, собрав гармошку, сочно жамкнул мехами. Звук пошёл отличный.

Потом отдал мне гармонь и приложился к хрустальной своей рюмочке. Я потянул меха, и они отозвались расслабленно нестройно.

— Дело мастера боится! Был в Заволжье... — Ильич махнул вдаль рукой, а тётя Галя покачала головой:

— Ну всё — замахал Ильич руками!

— ...Был в Заволжье на два села один гармонист. Заядлейший. Ещё говорил: «Ты неправильно играешь. С подтыром надо»... Гулял в деревне одной — играл-играл, а его ждут в другой. На свадьбе. А он всё играет, потом только пошёл. А меж деревьями овраг и лес кругом. Густой. С черникой. С малинником. А где свадьба — его хватились и пошли вызволять. Слышат — далеко-о-о-о... — пропел Ильич, прикрыв глаза, — в овраге гармошка. Да только играет странновато. В овраг-то спустились, а мимо них медведь ка-а-к повалит. А гармонь играет. Подходят — Михалыч на земле сидит и наяривает. Как заело его. Окоченел весь: пальцы от гармонии еле отлепили. Оказывается медведь на него попёр, тот орать на него по матери — не помогает. В дыбки встал — идёт. Тот давай тогда играть: хоть помру с музыкой! И что думаешь: медведь стал, как вкопанный, аж мох взлетел — слушает. А перестанет играть — в рык и к нему. Тот снова играть. И остановил! Остановил. Два часа играл. Прикоченел, как колотушка. Ещё и язык прикусил. Язык-то длинный!

— А ум короткий! — сказала тётя Галя, и все засмеялись.

## 2

Был на краю города сосновый бор, гора и овраг. С горы я съезжал на лыжах. Нёсся с упоением от свиста ветра и налетающей силы дороги, в которую еле ухи-

тряюсь вживить лыжины, еле успеваю перетапывать ими, ловя равновесье на буграх и ямах. Лыжину ведёт вбок, и могучая сила подсекает и валит меня. Вспыхиваю лицом снег до нашатырной рези в ноздрах. Задыхаясь, успеваю ощутить великолепие снежной пыли, вставшей облаком. Пыль опадает, отираю мокрое лицо, бессильно облепленное снегом, хлопаю, шевелю запорошенными веками и встаю во всей раскоряке лыжин, выворачивающих ноги. Отстёгиваю резинки, отряхиваюсь, охлопываюсь, подбираю палки... Гляжу на изуродованную лыжню и лезу в гору.

Бабушка любила смотреть, как я несусь с горы, и долго выстаивала на взгорке под соснами. Как-то закатался я до синих сумерек, потерял рукавицу, которую мы долго искали, пока темнело и всё вокруг, и склон горы, и наши поиски всё сильнее обращались в какое-то застарело-знакомое наваждение... Тот же снег, тот же круг поисков, те же кусты ивы. И чувство, что всё это было, и какое-то вдруг иное ощущение и себя, и времени, и даже найденная тёмная рукавичка — как со дна морского.

Бабушка стоит поодаль как-то особенно недвижно. Я спрашиваю: «Бабушка, это ты?» И вдруг понимаю, насколько стемнело, поднимаю взгляд в морозное небо и замираю — так ясно и близко сияют звёзды. Они поразительно яркие, особенно Млечный Путь, пролёгший объёмно и пыльно во всё небо... Бабушка показывает свою любимую Кассиопею и Волопаса со звездой Арктур, и меня восхищают названия — в Арктуре мне слышится холодное великолепие и тайна, а Волопас смешит. Потом она переходит на Большую Медведицу: «Считай от стенки Ковша пять отрезков». Я отсчитываю и попадаю на Малую. Бабушка говорит, что в ручке Малой — Полярная звезда, показывающая, где Север. Она на самом приверхе неба, и Север еле определишь.

Звёзды поразительны, и я впервые осознаю, что вся эта светящаяся бездна не просто ночная обстановка Кинешемской окраины, а поправде существующие огромные светила, отстоящие на немыслимом расстоянии не только от меня, но и друг от друга.

Я замечаю маленький хрустальный ковшик. Он настолько прозрачно-прекрасен и будто объёмен, что я удивлён, почему не показала мне бабушка Плеяды в первую очередь.

Сквозимый дышащей бездной, я долго пытаю бабушку о бесконечности Вселенной, но она ничего мне не может сказать, кроме того, что всё это «космос».

При этом слове мне вспоминается приходивший к нам в Замоскворечье дядя Юра Диков, зять моей второй бабушки Марии Макаровны, негромкий человек с детски-синими глазами и залысиной какой-то очень нежной выделки, легко берущейся морщинами. Он был связан с физикой, и на мой вопрос, что за космосом, с тихо-загадочной улыбкой отвечал: «Ещё космос». А я спрашивал: «А за ним?» Он снова улыбался: «Ещё космос». Казалось, улыбка связана именно с ожидаемостью и повторением моего вопроса. И моим непониманием — ни этой бесконечности, ни этого перечисления. И убеждённости, что меж вторым и третьим космосом обязательно должна быть какая-то граница, перепонка.

Фигура появилась внизу. Морозно скрипя валенками, шёл из оврага человек. Им оказался никто иной как наш Владимир Ильич, бедовый муж тёти Гали. Помню своё и удивление, и одновременно ощущение, что иначе и быть не может в этом очарованном кинешемском пространстве. И радость, что мы встретили Владимира Ильича, словно это доказывало какую-то справедливость вообще: настолько

хотелось всех встречать — близких и дорогих, раскиданных по Замоскворечьям, Солнечногорскам, Кинешмам...

Шёл Владимир Ильич шарящейся, низовой походкой, и было что-то в этом нарыске безутешное. Доносило от него водочкой. Под мышкой он держал гармошку, крепко обнимая, прижимал, словно она пыталась рассыпаться... Он остановился: «Голоса потерял!» И долго говорил с бабушкой и махал рукой в сторону оврага, тёмно черневшего и уже будто висящего где-то в подножьи сумрака, смешавшего ориентиры.

Оказалось, Ильич шёл из гостей и в овраге упал настолько сильно и нескладно, что гармошка, державшаяся на нескольких шурупах, развалилась. Выпали голоса, которые он в темноте не нашёл. Он показал на звёзды:

— Такой ясец! Не засыпет. Найду завтра!

Дома я всё не мог заснуть: громоздились созвездия и налетала лыжня, множась на копии и бесчисленно сходясь-расходясь. С ночи засыпал медленный и мелкий тягучий снежок. Я, будучи на пике своей лыжной эры, ободрённый снежком, умягчавшим мой спуск, с утра отправился через Кинешму на гору. Всё тонуло в сероватой пелене, городские звуки словно подбило ватой, а фигуры казались обобщённо-чёрными. И на одной улочке вдруг с внезапным грохотом съехал снег с крыши.

Даль, подъём, сосняк тонули в туманчике, снежной крапчатой сыпи. Появилась издали чёрная фигура, она приблизилась, и я различил мешок за плечами. Владимир Ильич в мешке нёс гармошку:

— Пошли голоса искать!

В низине даже под свежим снежком всё было истоптано и изъеложено, и снежок пушисто повторял рисунок. Ильич вытащил гармошку, аккуратно разложил мешок и положил на него гармонь, причём не на середину, а ближе к краю, чтоб осталась свободная часть, которой он прикрыл «струмент». И принялся за дело. На корточках, а то и на коленях медленно снимал снежный пух, снежную заливку, вёл терпеливую вскрышу, убирая пудру с окаменелой пропечатки. Потом и её, твёрдую, принялся прощупывать, вгрызаясь красными пальцами и просеивая меж них снежный песочек. Я как мог помогал ему, а он приговаривал: «Не затопчи, главное, не затопчи... Должны найти... Грят, и иголку в стогу сена находят... Ведь сидит где-то и над нами смеётся».

Я попробовал чистый снег в стороне от вчерашней копанины, и какова была моя радость, когда, веерно взяв рукавицей, я вдруг нашёл металлический блестящий предметик, пластиночку с двумя прорезями, похожую на длинную пряжечку. На последних проходах руки она засинела сквозь пористый снежок. Не веря глазам, я убрал снег. Голос лежал, холодно поблёскивая. Рассеянный свет неба горел на нём ровно и сдержанно, и, казалось, сама музыка, как серебро, пролилась на зимнюю землю и застыла зеркальцем на выставшем дне оврага.

Ильич тоже вдруг нашёл голос, потом ещё один. Лицо его сияло... «Никуда не денется...» — сказал он весело и сдунул снежок с последнего голоса.

Ильич откинул мешковину, как полость, достал из кармана монетку и отвинтил резную крышку. Странно было видеть шкатулочную бездонность гармошки на фоне оврага, серых кустов, падающего снега. Аккуратно, как рамку с сотами, он вытащил колодку с щербинами недостающих голосов.

Голоса приклеиваются на нагретый воск с добавкой канифоли. Всё было мёрзлое, и я хоть и ничего не понимал в гармошечном деле, но был уверен, что обрадованный Ильич, убедившись, что все голоса найдены, приберёт их до дома.

И было наладился из оврага, но Ильич, не глядя на меня, буркнул загадочно-тихо: «Да подожди ты» — и засунул колодку с голосами за пазуху под пальто, а голоса стал греть дыханием.

Потом достал колодку и положил на мешковину. Пошарил по карманам, зажёт спичку и поднёс к голосу. Блестящее зеркальце шершаво взялось копотью, Ильич додержал быстро чернеющую спичку, лоскуток пламени подошёл под пальцы, и он не отпустил, пока спичка не сгорела полностью. Потом разжал пальцы, и она, чёрная, худюще кривенькая, упала на снег. Рассегнув пальто, он протёр голос углом рубахи и, поставив на место, прижал. Потом так же прогрел, протёр и поставил второй и третий голоса. Пробормотал, кряхтя и очень тихо, с придыханием: «Пока так... На холодную...» Потом аккуратно взял колодку меж ладоней и, наружу вывернув локти, погрузил её в гармошкино чрево, а на последнем движении, напряжённо взглянув на небо, кивком отметил, что пришлась по месту: «Зато сыграем... нагорячую...» И подмигнул: «Да, Михась?»

А мне не верилось, что она заиграет. Но Ильич сработал мехами, и гармошка запела. «Подсачивает» — покривился Ильич, глаза которого неуправляемо сияли. Медленнее и крупнее пошёл снег. «Пошли...» — грозно и чуть дрогнув голосом сказал Ильич и, заиграв, начал медленно, в такт снегу, подниматься в гору. Играл он ту самую кантатную мелодию, которая так мне запомнилась в тот вечер у тёти Гали. Что-то близкое к «Зимней дороге» Свиридова, которая теперь окончательно встала на место.

Ильич так и ушёл в снежный просвет под музыку. Пришла бабушка с проверкой округи — и потерянных голосов, и меня, и погоды. Прекратился снег и мутно пробилось солнышко. На его фоне тёмно гляделись остатки снежной крошки, с разворотом летящие из поднебесья. Под ногами всё рельефней проступали лыжные следы. Я съезжал с горы с громким воем. Бабушка спросила, зачем я вою, и я сказал, что «для грандиозности».

## Чёрный бык

Наверное, нигде мы так не изучили с бабушкой дороги, как вокруг Ладыжина. Ещё в войну для неё привычным делом было пройти за двадцать километров по ягоду, таща с собою детей. Она и теперь не могла без этих дорог.

Пышная и нежная пыль, прибитая после дождя. Корка мокрая, а копнёшь — а там сухая и тёплая глубь. Лужи, в которых виделось какао с молоком, и особенно нежной и прохладно-отстранённой казалась бледная добавка неба. Грязь, глядевшаяся сортами шоколада.

К пыли я относился хорошо, бабушка же её терпеть не могла. «Пылищца» состояла у неё в одном проклятом списке с микробами. Были у бабушки и другие страхи: коровы, гуси и змеи. Коров, казавшихся ей особо бодучими, обходила. Стадо надвигалось неотвратно — гудким сопением, молочно-навозным чадом, смесью жаркого воздуха и паутов, врезающихся тебе в лоб колюче и мгновенно. Бабушкино лицо, и так напряжённо усталое, особенно подбиралось, подсыхало. «Смотри, вон та рыжая нехорошая», — прищурясь, говорила бабушка, и смотрела на мосластую коровёнку с разно торчащими рогами. Один, точёный, с будто опалённым остриём, грозно целил вперёд. За стадом шёл пастух Андрей, ссохшийся и запёкшийся от солнца, и похожий одновременно и на старика, и на подростка.

Был он в чём-то выгоревшем до лиловой серости и в кепке. С плеча свисал и волочился длиннющий кнут, сходя в дорогу настолько постепенно, что казался её частью. Раскатно и в нос он взревал: «Но пошла-а-а-а», а бабушка, повеселев, рассказывала сказку про Быка:

— Для чего ты, старичок, нож точишь?

— Да старуха велела тебя зарезать...

— Не режь меня, лучше засмоли мне спину.

Эта засмолённая лодочная спина, берегущая от ливней, поражала...

Боялась бабушка и гусей, когда начинали шипеть и, наступая, тянуть шеи, будто под что-то подныривая. Я хорошо знал бабушкино прищуренное выражение, и быстрый обходной шаг. И худые ноги в коротких резиновых сапогах.

С дороги в чашу она сходила осторожно: боялась змей, хотя тех, кто их убивал, осуждала. Страхи эти и на меня пытались перейти, но я постепенно управился, хотя, чтобы взять в руки змею, и теперь сделаю усилие. В гусиных шипении и шеях бабушке виделось змеиное.

Вскоре после обхода гусей, бабушка вдруг рассказывала, как Гуси-Лебеди унесли братца, и как капризно фыркала сестрица на речку и на яблоньку, а когда припекло, как миленькая всё и исполнила. И я чувствовал себя этим братцем, Ирочку Вишнякову из Солнечногорска сестрицей, бабушку — печкой, речкой и яблонькой одновременно.

События тех дней шли самым чудным и неспешным чередом. Будто огромный и задумчивый покручивал кто-то выпуклую Среднюю полосу России, как казачью лиру-релей. Так выдвинулся из ряда событий деревенский бык, пропоровивший бок пастуху Андрею.

То, что жертвой стал именно пастух, было особенно святотатственно. Помню, как бык этот прошёл мимо нашего дома, коротко и под нос роняя низкий, негромкий и леденящий рыко-хрип. Так кряхтит натужно пожилой мужик, получив удар сыгравшей доской или коряча груз.

Дом наш стоял на краю, а внизу лежало, как вытканное, поле с копнами. По нему и нёсся бык спустя несколько минут. Чёрный с пыльным отливом, он поддел копёшку, и сено разлетелось веерно и пыльно, и радостно до озноба было, что бык далеко в поле, а ты за забором, а вот уже и за дверью и стеной. А потом перешло дело в грозу, да так естественно, будто оглушительный и грозный гром был продолжением этого длинного бычары, а веерный взрыв сена — предвестником предгрозового порыва ветра, пронёсшегося по полю. Поле казалось огромным и далёким, но этот веер сена я видел отчётливо, настолько странна детская оптика: несмотря на удалённость копёшки, она была будто и рядом, словно пространство гуляло, удаляя и приближая предметы по мере моей привороженности.

Грома я боялся, как и вообще громких звуков, и выходило, что сама молния не так заботила, как этот чугунный, сотрясающий небо раскат. Бабушка стала считать секунды меж молнией и громом, и вдруг оглушительный и одиночный удар с ясным треском шархнул точно над нами. Затрепетали молнии, будто неожиданная бабочка-защитница зависла над нашим домом, в то время, как грозный кто-то в блестящей робе, шипя электродом, расшивал небесную арматуру. А бабушка всё считала секунды и всё указывала на увеличение разрыва, мол, видишь, проходит гроза. А в небе гигантскую мебель продолжали ворочать, в то время, как с поля дождевая стена шла белёсым войском, и поглотила, зашелестела, загрохотала по крыше обвалью, и ливень упрятал нас от быка, молний и грохота.

Потом так же умолкло, рассеянно отдробив по кровле, и я выскочил и увидел синее боковину неба, воронки от капель на дороге, и вспухший, в ребристую ёлочку, ручей, бегущий по колее. Главную силу он набрал именно по окончании ливня, и было что-то сказочное и таинственное в том, что чем дальше отходит буря, тем сильнее взбухает поток. Грохотнул гром, уже далёкий, будто всё продолжающий на меня ворчать, требовать какой-то душевной дани и, казалось, чем дальше небосклон, тем круче скат и тем податливей рухались ядра грома, как булыганы с самосвального кузова.

Отмоклым ясным голосом запела кукушка. И по молоко меня послали с бидончиком в дом за оврагом, к тётке Варе. Молоко забрал, но скользь стояла такая, что я поскользнулся и шмякнулся в самую сверкучую грязь-жизу... И бидончик грохнул, крышка отлетела, молоко разлилось и смешалось с карим следовым месивом. Упал я боком, вонзившись пятерней в жирную толщу, в шёлковую кашу, в которой непременно острый обломыш кирпича найдёт и врежется в руку. До сих пор помню смесь грязи с молоком, дрызглый холод сандалий, и как ремешки растягиваются, когда сандаля засосёт. И грязь на штанишках, и на голых ногах, и особенно гадкая мокрость там, где пропитало сквозь одежду и та липнет.

Я брёл к дому по зелёному гребню меж двух колеё, внимательно глядя под ноги. Вдруг буря вернулась: гулко и на голоса зашумело впереди, будто в мехах и пазухах пространства очнулся отставший ветрило. Я поднял голову: навстречу шёл бык. С губы свисала тягучая слюнина. В лучах солнца со шкуры летуче пахла влага.

Из боковой калитки выскочила бабушка в телогрейке с хворостиной и предельно сощуренным лицом. Закидывая кругово худые ноги в коротких сапогах, она побежала быку наперерез. Я вжался в забор, и бык, не меняя шага, прошёл мимо, добавив к утробному сопенью низкий и хриплый рык, относящийся уже к бабушке, которая стояла меж мной и быком и шевелила губами.

Мы вернулись на наше крыльцо, откуда виднелось поле с копнами, освещёнными вечерним солнцем. В эту минуту деревянно-раскатно досыпался гром в огромный ларь за полем, и бабушка, придя в своё восхищённо-эпическое состояние и дрогнув голосом, сказала, что это Илья-Пророк на телеге прогромыхал по каменно-крепким облакам. И ещё что-то такое старинное и уходящее в громовую даль веков, что и меня самого потянуло туда могуче и ясно, и я дрызглыми ремешками сандалек ощутил эту спасительную глубину, и показалось — чем крепче вращу стопами в отчую древность, тем легче мне будет выглянуть, свеситься в окошко нового дня. И не выпасть.



## ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ



### «Приемля лишь Божию милость...»

---

ЕФИМОВСКАЯ Валентина Валентиновна — советник Российской академии естественных наук, поэт, литературный критик, редактор, член Союза писателей России с 1999 г. Имеет два высших образования. Основные сочинения Валентины Ефимовской: «Долгий свет». Сборник стихов. СПб. 1998; «Приют для души». Сборник стихов. СПб. 1999; «Третий путь». Сборник стихов. 2002; «Золотой запас». Сборник стихов. СПб. 2012; «Романовы и святость». Альбом живописи, текст. Москва. 2014; «Русский Крым». Альбом живописи, текст. Москва. 2015; «Резонанс жизни». Сборник критических статей. СПб. 2015. За книги стихов присуждены премии им. Николая Гумилева и «Прохоровское поле». За литературно-критические статьи награждена премией «Имперская культура им. Э. Володина». За книгу критических статей о современной русской литературе получила Бронзового Витязя на VI Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь». Стихи В. Ефимовской переведены на иностранные языки, на них написаны песни, например, известной исполнительницей Юлией Славянской. В. Ефимовская с 2007 года — заместитель главного редактора культурно-просветительского и литературно-художественного журнала «Родная Ладога». Сегодня это один из ведущих литературных журналов, известный в России и за рубежом. С 2011 г. является руководителем Северо-Западного отделения Академии Российской словесности. Награждена: медаль к 300-летию Петербурга (2004), медаль «За вклад в отечественную культуру» (2008), медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2010) — награда общероссийского Комитета Общественных Военных и Трудовых Наград, медалью «За заслуги в сохранении русской культуры» (2012), — Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения» Российской Академии Российской словесности (2013), медалью «Герой Советского Союза, писатель Владимир Карпов» (2013) за весомый вклад в военную культуру и литературу, — медалью Русской Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» (2013) за подпись Патриарха всея Руси Кирилла, — медалью «Далмата Исетского» Курганской и Шадринской епархии РПЦ II степени (2013), медалью «Русская Земля» общероссийского общественного движения «Россия Православная» (2015), орденом святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы (2014 г.) в ознаменовании 400-летия Дома Романовых. Член Союза писателей России. Живёт в г. Санкт-Петербурге.

## Выбор

Когда входили в бухту крейсера,  
Когда отец легко сбегал по трапу,  
Мое взмывало детское «Ура!»,  
Цепляя коршуна за бронзовую лапу

На обелиске в честь погибших кораблей...  
Под штормовым сердцебиеньем флага  
«Вальс севастопольский» я пела всех слышней,  
Я подпевала морякам «Варяга».

От мамы знала, помнящей войну, —  
Нам никогда не подпоет Европа...  
Царю тому на верность присягну,  
Кто возвратит России Севастополь!

## Под Андреевским флагом

Блаженно дыхание бриза,  
Томительно чайки кричат,  
И, как золоченая риза,  
На волны ложится закат.

Рокочет угрюмое море,  
Что зыбок и призрачен мир.  
В пучине лежат, как в соборе,  
Священник, матрос, командир.

И вижу я, глядя на воду,  
Картины геройских смертей —  
В сраженьях морских за свободу  
Великой Отчизны моей...

На палубе крови без меры,  
И вот уже близок конец...  
Своею молитвенной верой  
Спасает духовный отец.

Волна заливает каюты,  
Корабль оседает кормой,  
Кадит до последней минуты  
Священник с седой головой.

Детей своих — добрую паству —  
Светло осеняет крестом,  
Чтоб каждый из гибнущих спасся  
И был бы утешен Христом.

«Сдавайтесь! — стихия бесилась —  
И жизнь вам враги сохранят».  
Но насмерть герои стоят,  
Приемля лишь Божию милость  
К погибшим за други своя.

## Сладкое чудо

...единый признав характер,  
сливались, пружиноподобны,  
миры ДНК и галактик...

*Ю. Шестаков*

Под яблонькою почва не сладка, И дождь, на листья льющийся, не мед, Но вызрел из галактики цветка Планетой сладкой яблоневый плод. Он сладок, как признание в любви, Как образа святого целованье, Как соль родной возделанной земли, Как воинов победных ликованье.	Откуда изливается та сладость? Из ледяного космоса? Едва ли. То, может быть, иная ипостась Трехмерной генетической спирали? Волноподобная, не зная берегов, Пронзая толщу времени-пространства, Она Творца сладчайшую любовь С непобедимым плещет постоянством!
---	--

## Русская красавица

Русская баба дородная, Пшеничная, огородная, Стыдливая, сынородная, Крещеная, крестноходная, Испытанная нуждою, победою и бедою, Русь омрачишь, став худою. Хрупкую, словно осень, Легче сломить и бросить.	Врут чужеземцы советами — Посты заменить диетами. Не внемли этой нелепости — Держись в первородной крепости. Не обнажай на судилище Душу — любви вместилище: Покуда ты ею красива, Тьме не объять Россию!
--	--

## «Коридор смерти»

*Вечная память героическому подвигу  
железнодорожников, которые водили поезда с  
продовольствием в блокадный Ленинград под  
прицельным вражьем огнем по легендарному  
«Коридору смерти»*

Я верю, — с посекундным постоянством  
Вернется время к нам — за часом час,  
Поскольку искривляется пространство  
Вблизи огромных необъятных масс.  
Когда любви энергия лучится,

То массы большей во Вселенной нет,  
И жизнь над смертью неизбывно длится:  
Меж телом и душой в квадрате свет!  
И в этом свете жертвенном не меркнет  
Простая и незыблемая суть:  
Мчит бранный поезд «коридором смерти»,  
Для жизни вечной проторяя путь!

## Вальс

Никогда не вернусь в этот город утрат,  
В этот город, в мученьях рожденный,  
В этот город-дворец, в этот город-парад,  
В город летних ночей просветленных.

Никогда не вернусь в этот город церковей,  
Оскверненных, а ныне хранимых,  
В этот город бродяг, в этот город царей,  
В этот город родных и любимых.

Мне вовек не придется прокладывать след  
В этот город дождей и туманов,  
В этот город-экстаз, в этот город-балет,  
В этот город великих романов.

Даже в мыслях своих никогда не вернусь  
В город, знавший блокаду, Победу,  
Потому что клянусь, взором сердца клянусь —  
Никуда от него не уеду!

\* \* \*

Поговорим о чем-нибудь простом,  
О том, пожалуй, что в единстве — счастье...  
Смотри, как осень за моим окном  
Тумана тело ветром рвет на части.  
Лист одинокий, как в небытие,  
Летит на землю с оголенной кроны

Златым осколком купола ее...  
Ветвистый остов обжили вороны.  
Ты видишь, — воздух ледяной волной  
К теплу прихлынул нашего оконца.  
Пылают звезды в темноте ночной,  
Как капли расколовшегося солнца...

\* \* \*

... душа хотела б быть звездой

*Ф. Тютчев*

Смеркается. Звездно. Морозно.  
Я в шали иду не спеша  
Внимать несмолкающим звездам...  
Следить побуждает душа,  
Как ярко, к Земле подлетая, —  
К Царице всех солнц и планет,

И скорость свою замедляя,  
Звучанью сподобился свет, —  
Летит с колокольни церквушки,  
И вторит ему моя кровь:  
Становятся звездами души,  
Поверя, что свет — есть любовь!

## Дом с ангелом

С мамою и я жила в блокаде...  
Кто сказал, что не было меня,  
Если жизнь в блокадном Ленинграде  
С первого запомнила я дня.

Были клены небывало алы,  
В худобе болезной тополь наг,  
И Петра десница простирала  
Предостереженья явный знак.

Зла не ждали голуби и розы,  
Золотом переливалась тень.  
В городе бомбежки и морозы  
Грянули в один и тот же день.

Замело, завьюжило, завыло.  
Помню, как Неву теснили льды.  
Вкуса не забуду до могилы —  
Невской замерзающей воды.

Той воды, которую в бидоне  
Матушка моя с трудом несла.  
Ангел на ее старинном доме  
Каменно простер свои крыла:

На нее, еще девчушку, глядя,  
Ей безмолвно прочил райский свет...  
До рожденья в мирном Ленинграде  
Я жила в аду блокадных лет.

## Дождливое лето

Черны прогорклые стога,  
Сверкает влагой луг покосный,  
И у коровы на рогах  
Дождинки, как дневные звезды.  
А ветер стадо туч ведет,  
Куда-то гонит их лениво,  
Но озаряет небосвод,  
Пугая мглу, ржаная нива.

Тепло лучатся в небеса  
Колосья солнечного цвета...  
Откуда свет тот? Чудеса!  
Он был посеян прошлым летом,  
Его мороз терзал, как зверь,  
Хлестала вешняя водица.  
В земле он умер, чтоб теперь  
В колосьях этих возродиться!

\* \* \*

Рассеклось мгновеньем,  
Нитью горизонта  
В золотом сеченье  
Золотое солнце.  
Туч сумбурных тени  
Заблудились где-то,  
И мои колени  
Светом обогреты.

Гонит выше сосен  
Ветер уток стаю.  
Васильки, колосья  
Я перебираю:  
К празднику Успенья  
Делаю букеты.  
На моих коленях  
Умирает лето...

## Дом

Веками здесь бесстрастно зеркала  
Мгновенья жизни вечной отражали,  
И в омотах зеркального стекла  
Тонули те, кто раньше здесь бывали.  
Войду в дом опустевший, не спеша,

Жалея, что не вечно жизни бремя.  
Здесь листья в пыльных комнатах шуршат,  
В каминном зале задремало время,  
Укутавшись в остывшую золу,  
Былой наряд его давно изношен,  
И зеркала осколок на полу,  
Как чуткий взор, что в мирозданье брошен, —  
Туда, где возникают, ум страха,  
Галактики, где свет берет начало...  
О, как должна быть велика душа,  
Чтоб не судила время, но вмещала...

### Чистый понедельник

Пахнет срубленной елью	Под нетопленую печкой
Капелька смолы,	Горсточка золы —
Легок Чистый понедельник.	Чтоб от «масляной» — ни крошки:
Мытые полы,	Правильный зачин,
Напоен печалью сладкой	А в раскрытые окошки —
Вешний ветерок,	Благовест-помин.
Рядом с «постною» лампадкой	Семь седмиц преодоленья —
Тонкий образок,	Искупленья срок.
Сушек маковых колечки,	Светлый праздник Воскресенья —
Скромные столы,	Ведомый итог.

### Реквием Моцарта

Моцарт:  
... человек, одетый в черном,  
учтиво поклонившись, заказал  
мне Реквием и скрылся...

*А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»*

Быть может, Бог ту песню заказал  
Через посланца в черной ризе длинной?..  
И Реквием над миром зазвучал  
Бессмертию души великим гимном,  
Души, познавшей вдохновенье, боль  
И то, что бытия законы строги.  
И, покидая брENNую юдоль,  
Она рыдала, грешная, о Боге!  
Мир перед этой музыкой затих.  
Лишь звезды с неба падали, как слезы:  
То плакал Бог о чадах всех своих  
Под звуки рукотворной Лакримозы!

## Сальери

Сальери:  
...Ремесло  
Поставил я подножием искусству.  
...Поверил  
Я алгеброй гармонию...  
*А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»*

Рассудка откровенья хороши  
До тех лишь пор, пока он к точной мере  
Талантливости творческой души  
Не подступает с «алгеброй» Сальери,  
Который был судьбой не обойден  
И все ж хотел, гордынею влекомый,  
Постигнуть вдохновения закон.  
Но не стяжал он формулы искомой.  
И потому сказал, что правды нет,  
Когда пытался зрением поверить  
Земного бытия незримый свет,  
Лишь Господу доступный в полной мере.

\* \* \*

«Что в имени тебе моем...»  
*А.С. Пушкин*

Во всех краях, в любые времена  
Рос человек от имени — от слова.  
Без имени кто я? — Величина,  
Неймущая значенья никакого.  
Вне имени чужда я бытию,  
Пронизанному свыше данным словом.  
Лишь в имени пред Богом предстаю,  
Лишь имя — духа вечная основа.

## На Смоленском

Колокола звоны — как поклоны  
На четыре стороны Руси,  
Каркают на кладбище вороны  
Жутко так, что, Господи, спаси...

Канули, как малых рыбок стаи,  
На рассвете звезды в глубь небес.  
Хвоя меж могильными крестами  
Двух тропинок выстилает крест.

На запруде ряски плат багровый  
Ветром порван — дыры не зашьешь,  
Добрая б юридивой обнова,  
Да вот как блаженную найдешь?

Говорят, она ходила где-то,  
Забрела недавно и сюда, —  
И в ледок ее босого следа  
Вмерзла рыбкой золотой звезда.

## В огне

Меняется природа вещества,  
Когда огонь его строенье рушит,  
И виден прах любого естества...  
Но, полыхая, не сгорают души!

## Старики

Не меркнет лик пречистыя реки,  
И словно не стареют Росси зданья.  
Но в городе должны быть старики!  
Бессмертье достижимо состраданьем.  
Живых да будет много стариков,  
Ворчливых, поучающих, усталых,  
Пусть обойденных славою веков,  
Но для меня звучат, как с пьедесталов  
Знакомые рассказы их про те  
Сто двадцать пять спасительных блокадных,  
Про горький бой в кромешной темноте,  
Про сладость слез победных и наградных.  
Без вечностных опор ветшает кров,  
Душа без памяти бессовестна и лжива.  
Помолимся за наших стариков —  
Подольше бы, родные, были живы...



ЕЛЕНА ШОЛОХОВА



## Комсомольское сердце

РАССКАЗ

«Каким должен быть комсомолец?» — гласила повестка дня открытого школьного собрания.

Первого собрания в этом учебном году.

В крохотный актовый зал народу набило-о-ось! Восьмые, девятыe, десятыe классы, пионервожатая, кое-кто из учителей, даже завуч пожаловал, а в дальнем углу вдоль стенки теснились пришлые — им скамеек не хватило. Кажется, с завода. Что здесь забыли? Хотя пусть. Жалко, что ли? Всем ведь полезно послушать.

Но главное, где Самойлов? Он, как никто, обязан быть. И не просто слушать, а проникнуться, понять, осознать. А его нет...

Я даже злиться начала. Это же надо — какая безответственность! Какая безыдейность! Какое преступное пренебрежение жизнью коллектива!

Валера Букин, секретарь школьного комитета комсомола, нетерпеливо постукал карандашом по графину — гул и шепотки сразу улеглись.

---

ШОЛОХОВА Елена Алексеевна, прозаик, переводчик. Родилась в 1977 г. в Иркутске. Окончила Институт иностранных языков им. Хо-Ши-Мина, факультет английского языка. После работала в ОАО «Ростелеком». С 2013 сотрудничает с издательством «АСТ» в качестве переводчика художественной литературы. В 2014 году в издательстве «Аквилегия-М» вышел первый роман «Ниже бездны, выше облаков». Книга «Звезда» вошла в десятку победителей международного конкурса «Книга года: выбирают дети» (2015). Книги «Ниже бездны, выше облаков», «Звезда», «Плохой, жестокий, самый лучший» включены в ежегодный рекомендательный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» за 2016 год. Живет в Иркутске.

С докладом выступала я — так уж повелось.

— Слово предоставляется Зое Слободчиковой, — объявил он.

В полной тишине кто-то трижды громко хлопнул.

Кто же ещё? Конечно, Самойлов! Вот ведь какой! Опоздал, так веди себя скромно, но нет же — этот вовсю лезет на рожон. Вот такой он и есть.

На него зашикали учителя, и завуч, Марк Платонович, грозно нахмурился, а Самойлов встал в дверях рядом с заводскими и смотрит прямо на меня, как всегда, с ухмылочкой. Неисправимый!

Отвожу взгляд и чувствую, как наливаются жаром щеки. И даже уши. Это от злости, конечно.

Почему он опоздал? Зачем похлопал мне? Один на весь зал! Надо же хлопать после, а не до.

Наверняка хотел, чтобы я сбилась. Но не дожждётся!

И я бодро начала с истории становления комсомольской организации. Рассказала, как под руководством коммунистической партии появился комсомол, как рос, креп и развивался. Как комсомольцы-герои гражданской войны отважно боролись с кулаками и строили колхозы, как покоряли южно-уральские степи, тайгу, Дальний Восток, как несли знания в самые глухие деревни.

На этой фразе многозначительно смотрю на Самойлова. Он снова в ответ ухмыляется. Невозможный человек!

В горле запершило. Валера плеснул из графина, протянул стакан.

Быстро глотнув теплой воды, вдохновенно продолжаю:

— Светлый образ комсомольцев-героев, их великие подвиги навсегда остались в наших сердцах. И нам есть, на кого равняться. Своими славными делами мы должны доказать, что станем достойной сменой, что не зря зовемся комсомолом, что не ударим в грязь лицом и будем примером подрастающему поколению...

Снова ловлю взгляд Самойлова. Вид у него теперь откровенно скучающий. Глаза взвёл к потолку, будто там что-то интересное. А потом и вовсе зевнул, прикрыв ладонью рот. Просто неслыханно!

У меня аж закипело внутри всё от возмущения.

Ну ладно же, пройдемся и по тебе, товарищ. К тому же, такова была установка нашего секретаря.

— Но, к сожалению, не все комсомольцы проявляют достаточную сознательность. А некоторые и вовсе уклоняются от дел коллектива, учатся не в полную силу, пренебрегают общественными поручениями.

Выжидаю паузу. Многозначительную.

Самойлов по-прежнему и бровью не ведёт, как будто это не о нём сейчас говорится. Хотя всё он, конечно же, понимает, просто делает вид. Ну-ну.

— А кое-кто, — продолжаю я, — в наше время, свободное от религиозных предрассудков, постыдно приобщается к изжившим себя идеалам тёмного прошлого и тем самым позорит высокое звание комсомольца.

Строго смотрю на него в упор. Пусть знает, в чей огород камушек.

О-о! Вижу, взгляд зажёгся. Желваки заиграли. Что, проняло? То-то. Так вот тебе! А вот нечего из себя Чайльда Гарольда строить.

Верит или нет Самойлов в несуществующего бога — точно неизвестно. Было бы известно — давно бы из комсомола выгнали.

Но вот бабка его верующая! И не просто верит, но еще и знахарством занимается. И ведь находятся тёмные люди, которые ходят к ней со всякими бедами-болячками. Со всех окрестных деревень и сёл идут-идут...

Сколько раз мы, и лично я, проводили беседу с Авдотьей, бабушкой Самойлова. Требовали прекратить эту антисоветскую деятельность. Обращались к председателю колхоза, писали коллективные жалобы в сельсовет и даже в райцентр. Но этот гнойный нарост как был, так и есть.

Вина же Самойлова в том, что он самовольно ушёл от родного отца жить к этой своей бабушке. А его отец, между прочим, отличный труженик, передовик, партиец. И не беда, что завёл новую семью — он ведь не развёлся, во вдовцах проходил несколько лет. Да и мачеха Самойлова на хорошем счету, ударница. Так что очень непонятен этот его уход из дома. И вообще, разве дело комсомольцу жить среди крестов и икон?

В зале загудели, зашептались, некоторые обернулись на Самойлова, а он только сверкает чёрными, как перезревшая смородина, глазами. Злится. На меня злится. И пусть.

Закругляю речь оптимистично. Так надо. После собрания все должны разойтись приободрёнными, говорит наш секретарь.

— Но мы верим, что вскоре наш товарищ осознает свою ошибку. Сольётся с коллективом и будет душой болеть за правое дело, а мы всегда готовы протянуть ему руку помощи.

Зал зашёлся аплодисментами.

А этот, наоборот, стоит — руки в карманы сунул и снова ухмыляется! Вот что он за человек такой?!

После собрания, когда все уже разошлись, Валера Букин задержал меня:

— Зоя, надо подумать, как ещё будем прорабатывать Самойлова. Ты подготовила прекрасный доклад и выступила отлично, молодец. Но Самойлова одними речами не проймёшь. И так слишком долго с ним возимся. Надо жёстче, решительнее. Пусть будет больно, но это во благо. Он сам потом спасибо скажет.

Валера говорит твёрдо и каждую фразу отбивает ладонью по столешнице, покрытой тёмно-красным сукном.

— Что, Зоя? Ты же понимаешь, такие как он — позорное пятно для всех нас. А ты — комсорг класса, так что вся ответственность на тебе. Ну и на мне, конечно. Так что за работу! Начнём с листовок, агиток, изобличающих плакатов. И развесить их надо не только в школе, но и... везде. У сельпо, у клуба, у сельсовета. Всё ясно?

«Листовки, плакаты — это редколлегии, — вдохновлённая Валериной речью, продумываю я на ходу план действий. — Сегодня зайду к Лиде Красько, пусть...». В последнюю секунду замечаю, что у ворот стоит Самойлов, но остановиться не успеваю и налетаю на него. Носом в плечо. Едва не падаю. Вдыхаю его запах. А пахнет он лесом, костром и... чем-то неясным, отчего становится жарко и стыдно.

Какого лешего он тут околачивается? Прямо на пути!

Самойлов придержал меня за локоть, но я отскочила. А у самой щёки пылают. От неожиданности, конечно. Он что-то сказал, но я уже не расслышала. Умчалась как угорелая.

К вечеру обежала всех наших. Пусть помогают редколлегии — Лидка Красько одна не справится. Листовок надо много и плакатов несколько.

— Ты только пожётче изобрази, — внушала я Лидке, — Валера Букин так велел.

А дома ждала радость: вернулся из командировки отец. Он у нас управляющий госбанком, поэтому часто уезжает.

Я рассказала ему про школу, про собрание, про поручение Валеры.

Папе идея с плакатами почему-то не нравится. Он ничего не говорит, но по лицу вижу — не нравится. И я не понимаю — почему? Спрашиваю, но он, как всегда, уклоняется от ответа.

Утром снова суета. Валера интересуется, как там его наказ. Но здесь всё путём. Лидка пообещала, что послезавтра плакаты будут готовы. И наши все уверили, что с листовками не подведут.

Ну а Самойлов — мало от него неприятностей, так он ещё снова в школу опоздал!

Надо с ним серьёзно поговорить. Без околичностей, строго.

Только почему мне стало так сложно с ним разговаривать? То слова нужные не идут, то просто не по себе. Даже подходить к нему нервничаю. Но надо. Для комсомольца «надо» — первое слово.

— Останься, Самойлов, — говорю ему после уроков.

— Зачем?

— Разговор есть.

А сама снова чувствую, как зарделась. Сейчас-то почему?

— Так пойдём по дороге и поговорим. В одну же сторону.

Не хочу я с ним рядом идти!

Почему я его слушаюсь?

— Давай сумку понесу? — предлагает он, как только вышли из школы.

— Не надо! — я отчаянно трясую головой, но он уже выхватил её и закинул себе на плечо.

— Отдай!

— У дома и отдам. Не бойся, не съем твои пятерки.

Не отбирать же, хотя без сумки мне совсем неловко. Не знаю, куда руки деть. Под фартук спрятать, что ли?

— Так о чём ты хотела поговорить? — спрашивает он с усмешкой.

— Ты сегодня опять опоздал! Ты и так...

— Я и так, — перебивает он, — учусь вполсилы, пренебрегаю поручениями, ещё и приобщаюсь к постыдным идеалам тёмного прошлого, короче, позорю высокое звание комсомольца.

И тон у него при этом такой развесёлый!

Я аж задохнулась. Как он так может?! О серьёзных вещах говорить и насмеяться!

— Не думала, что ты слушал, — только и смогла произнести.

— Слушал, слушал, — посмеивается Самойлов, — и на ус мотал.

— А вот это правильно! — подхватываю я. — Ты...

Он внезапно остановился, развернулся ко мне и смотрит в упор.

И я зачем-то встала. Двинуться с места не могу, все слова опять забыла. И снова жарко, душно, невыносимо. Дрожь ещё какая-то дурацкая...

Не смотри так на меня! Ой, мамочки, зачем он так смотрит?

Дальше ещё хуже: Самойлов протянул ко мне руку и заправил прядь за ухо. Там, где пальцы коснулись кожи, жжёт теперь точно огнём. Что он такое творит?!

А мне что делать? Язык прилип к нёбу. Во рту пересохло. Сердце бухает как молот.

— Мне домой надо, — наконец выдавила я и пошла от него на ватных ногах. Про сумку забыла даже.

— Ты же поговорить хотела, — пристраивается он рядом.

Хотела. А как говорить-то, если в голове каша? Если губы как деревянные. Если... сама не знаю, что со мной.

У сельпо ждали завоз. Вот все на нас уставились! И что подумали? Стыдно-то как! И зачем я согласилась с ним идти?

Дошли до дома молчком.

Его бабка жила через несколько дворов от нас, в конце улицы. Думала, он отдаст сумку и пойдёт себе дальше. Но Самойлов остановился, привалился к нашей калитке плечом и опять смотрит. Глаза такие тёмные, что зрачков не видать.

Потом протянул мне мою сумку.

— Тяжёлая. Как ты её таскаешь, такая худенькая?

— Почему ты не живёшь с отцом? — отважилась я спросить.

— Что мне там делать? Ему и без меня хорошо. А бабка старая. Хворает. Она ни дрова не может наколоть, ни воды принести.

— Если она такая знахарка и лечит всех, что ж она сама хворает? Не может себя вылечить? — не удержалась я, съязвила.

Лицо его вмиг окаменело, а взгляд стал колючим.

— Вот потому что лечит всех, сама и хворает, — сказал он зло. — Но вы, прыгуны-активисты, разве поймёте?

Он развернулся и быстро зашагал прочь.

А мне стало обидно, горько. И зло взяло, конечно. Это он вот так про комсомол сейчас сказал — прыгуны?! Да его за это... Ну, он ещё ответит за свои слова!

На другой день Самойлов не поздоровался со мной. Я-то думала, он извинится за вчерашнее, за «прыгунов», а он... Ну, что ж, сам виноват.

Домой шла поздно — весь день просидела в библиотеке. А на душе скребли кошки. Почему? Ведь я поступила правильно, передав секретарю, как отзывался Самойлов о комсомоле. Конечно, правильно. Иначе это было бы примиренчество. Но отчего же так скверно, как будто я что-то плохое сделала?

У сельпо снова толпился народ. Сейчас-то почему? Седьмой час, магазин не работает.

Толпились кружком у закрытых дверей, галдели, хохотали. Дядя Макар обернулся, увидел меня и крикнул:

— Крепко вы Саньку с бабкой протащили. Не боитесь?

Я догадалась — Лидка плакаты доделала.

Вяло подумалось: «Успела раньше срока, молодец. Надо завтра её отметить. И секретарь будет доволен».

Дяде Макару же с вызовом ответила:

— А что нам бояться? Здесь всё по правде!

— Бабы говорят, Авдотья не только лечить может, но и наоборот.

— Это всё глупые суеверия. Стыдно, дядя Макар, в такое верить!

А сама припустила домой, будто это меня позорили на плакате.

Всю ночь проревела в подушку. Никак не шли из головы глаза эти проклятые, такие тёмные, что зрачков не видать...

Наутро по селу гуляли листовки, где Самойлова и его бабку высмеивали на все лады. Оживление царило, как на Первомае. Валера похвалил меня, я — ребят и Лидку персонально.

А Самойлов в школу не пришёл...

В октябре Самойлова исключили из комсомола. Всё ему припомнили: и бабку-знахарку, и прошлые заслуги, и «прыгунов», конечно.

Когда Валера подошёл к нему, чтобы снять значок, Самойлов не дал, сорвал сам, швырнул на стол и вышел из класса, хлопнув дверью.

Из школы его тоже исключили.

Почти за целый год я видела Самойлова лишь несколько раз и то издали, мельком. Папа сказал, что бабка его совсем плоха стала. Ноги не ходят. А люди к ней всё так же тянутся отовсюду вереницей. Про Самойлова папа помалкивал. Но я и так знала, что председатель взял его в колхоз.

А в конце июня, сразу после Петрова дня мы с ним встретились. Столкнулись на крыльце сельпо утром. Меня отправили за хлебом — на покос собирались, а он как раз выходил из магазина. Я как увидела глаза эти чёрные, а в них столько всего — не передать! Отшатнулась, а у самой всё защемило, затрепыхалось. Ни охнуть, ни вздохнуть. Смотрю на него и сдвинуться не могу. И он тоже замер, но затем опустил глаза в пол, отвернулся, да и пошёл прочь. Не оглянулся даже...

На покос поехали вдвоём с отцом. Солнце палило нещадно, аж в глазах рябило. Пот струился по шее, спине, лицу, щипал глаза. От косы все ладони намозолила. А папа только посмеивался. Привыкла, говорит, с бумажками возиться, по-настоящему работать разучилась.

К вечеру я уж совсем с ног валилась. Папа сжалился.

— Ступай, отдохни. Я еще с часок поработаю, да домой поедем.

Прячась от зноя, я забрела в реденький пролесок, что отделял луг от болотистой речки. Комарья здесь — тьма. Зато свежо, прохладно. Ещё и земляники видимо-невидимо.

Сначала я даже ничего не поняла: ступила, а под босой ногой вдруг что-то дёрнулось, зашипело, стремительно метнулось, и лодыжку пронзила острая боль. Лишь затем увидела серое, чешуйчатое, юркое...

Гадюка! Вскрикнув, я в ужасе подскочила, и змея тут же скрылась в зарослях травы.

На ноге, прямо над косточкой виднелись две красные точки. Я знала, что первым делом надо отсосать яд, но дотянуться никак не получалось.

Жгло как от крапивы, только гораздо сильнее. Пока добралась до луга, где косили, боль сделалась нестерпимой и с каждой секундой нарастала. Лодыжка и ступня распухли и покраснели.

— Папа-а! — взвыла я, когда идти стало совсем невозможно.

\* \* \*

Папа выжимал из старенького мотоцикла всё, на что тот способен. На ухабистой дороге люлька тряслась и подпрыгивала. От толчков выворачивало кости. Тело горело точно в огне.

Была суббота, вечер. Сельская больница не работала. Мы мчались в райцентр.

В больницу папа вбежал, держа меня на руках и расталкивая людей.

Меня положили на клеёнчатую кушетку, сделали укол. Старенький врач что-то спрашивал, а я могла лишь мычать, стиснув зубы, чтобы не стонать от боли. После укола немного полегчало. И тогда я услышала, как из-за ширмы врач тихо сказал папе:

— Нogu придётся ампутировать. Слишком обширный некроз. Никак уже не спасти.

Я не плакала. Я велела себе терпеть и смириться, и вынести всё. Или грош мне цена.

А потом мы ехали домой. Я не спрашивала папу, почему мы не остались в больнице. Меня опять мутило, и в теле вновь разбухала горячая, пульсирующая боль. Даже холодный ночной воздух не остужал пылающую кожу.

Мотоцикл промчался мимо нашего двора, а у ворот Самойловых папа резко затормозил. Подхватив меня на руки, он влетел в калитку и затарабанил ногой. Внутри что-то гроыхнуло. Дверь открылась.

Самойлов.

Вижу его глаза, чёрные, бездонные. Они расширяются, угрожая затянуть, засосать. И я смыкаю веки.

Папа просит Авдотью спасти меня, умоляет, унижается.

«Не надо, папа», — хочу сказать, но губы запеклись, слипились, и вместо слов вырывается хриплый стон.

Бабка отказывается, кричит: «Ни за что! Никогда! Пущай будет безногой! Пущай хоть помирает!». Гонит нас прочь. Бранится.

А папа снова просит.

Нет, это уже не папа. Самойлов. «Вылечи ее! А не то... уйду».

Авдотья с ним спорит. Плохое говорит про меня, обиды вспоминает.

«Уйду прямо сейчас. Никогда меня больше не увидишь».

Он просит за меня? Почему? И предательская слеза выкатывается из-под зажмуренных век.

Слышу шаги, твёрдые, резкие. Авдотья сопит.

— Куда ты, окаянный? Вылечу её, но с одним условием.

— Каким? — отцовский голос сливается с голосом Самойлова.

— Пущай утречком приползёт ко мне сама, на брюхе. Через всю улицу, от вашей избы до моей. Одна!

Папа потрясённо молчит.

— Бабка, ты спятила? Ты глянь на неё, — заводится Самойлов.

— Или так, или никак, — отрезала Авдотья. — И можешь мчаться куда хошь, а попрыгунью эту комуняцкую лечить не буду.

Он снова кричал на неё, но теперь уж бабка ни в какую не уступала.

— Она не сможет, — глухо пробормотал папа.

— Тогда пущай помирает.

— Может, Зоя просто извинится? — какой у папы просительный голос! Как стыдно!

— Ишь вы! — взвилась старуха. — Как срамить нас с Санькой, так перед всей деревней, чтоб каждый пальцам тыкал и в спину плевал. Нет уж! Пущай ползёт на брюхе.

Я лежала дома, на кровати, в полубреду. Потому что разве это могло быть правдой: папа молил меня ползти к ней?! И мама упрашивала, руки целовала, плакала. Даже маленькая Катька вон проснулась и ревёт.

Я лишь качала головой. Не могла говорить, язык разбух. А если бы могла, сказала бы: ни за что! Никогда! Но мама с папой не отступали. Умоляли, рвали сердце...

\* \* \*

Я — предательница. Я недостойна зваться комсомолкой. Я поставила свою жизнь выше идеалов. И кто я после этого?

Нет, умереть мне не страшно, и калекой стать не боюсь. Но их лица — отца, мамы, маленькой Катьки... Лучше уж пусть потом осудят и накажут меня, но не им так страдать.

И я поползла. Папа вынес меня за ограду, положил на дорогу. Не знаю, смотрел ли он вслед или отвернулся. Лучше бы отвернулся.

Ползти трудно. Вчерашние мозоли на ладонях кровили. Кровь смешивалась с песком.

Я сжала кулаки и стала подтягиваться на локтях. Распухшая нога отяжелела, любое движение отзывалось палящей болью. Эта боль наполняла каждую клетку, жгла глаза, стучала в висках. Всё плыло в огненном мареве.

Кто-то смеялся, кто-то шептался, кто-то, наоборот, замолкал. Я ни на кого не смотрела, иначе... просто не смогла бы ползти. Ещё один двор... Сколько их осталось? Семь? Восемь?

Я бессильно уронила голову. Пыль забилась в ноздри, осела на щеках.

Чьи-то руки подхватили меня, понесли. Папа?

И снова голоса. Авдотья. Сердитая.

— Ты её принёс!

— Я только в избу внёс. — Нет, не папа. Самойлов. — Лечи!

— Дурак!

— Лечи!

— Что с тобой дураком поделать. Ладно, клади её сюда.

Восемь дней я провела у Авдотьи. Она поила отварами, после которых я всё время спала, себя не помня. Порой слышались шепотки, странные слова, необычные запахи, но, может, это всего лишь снилось.

От забытья я очнулась на девятый день. Рядом, на табурете, подперев щеку кулаком, сидел Самойлов и клевал носом. Измученный весь... Черные вихры спутаны. Под глазами — тени. А стоило мне пошевелинуться, он тут же встрепенулся и бодро спросил:

— Как ты?

И вперился взглядом так пытливо, жадно, что сердце ёкнуло и заколотилось где-то в горле.

— Будет жить твоя попрыгунья, — крикнула из-за занавески Авдотья. — И скакать будет пуще прежнего. Лучше поди сюда, помоги-ка мне подняться.

Он ушёл. Я потянулась к ноге — целая, не болит, от страшного отека — ни следа. Пошевелила пальцами, согнула в колене. Я здорова? Но... как такое возможно? Доктор же сказал, омертвела нога, не спасти. И ведь знахарство это, молитвы, заговоры — всего лишь предрассудки, обман, невежество. Тогда как же? Как?!

Вернулся Самойлов. Принёс холодной воды, дал напиток. Сам светится.

А мне вот не радостно. Кто я теперь? Что я? И люди осудят — такой позор. И наши отвернутся. Скажут, что запятнала честь комсомола. И будут правы!

Я — действительно предатель. Принципы предала, идеалы, всё, за что боролась. А главное, со страхом понимаю, что у самой в голове неразбериха, в сердце — смятение. Уже не знаю твёрдо, во что верить, во что — нет. И как мне теперь жить?

До дома меня провожал Самойлов. Сама еще слаба была, ноги дрожали, не слушались, и голова кружилась. Еще и как кружилась! Даже не знаю, от чего больше: от болезни или от него, от того, что он так близко, за руку меня держит, плечом касается.

Мы шли молча, только у калитки я сказала, пряча глаза:

— Ты прости меня, я ведь тогда считала, что поступаю правильно. Что долг свой выполняю. А теперь... теперь я сама ничего не понимаю... запуталась...

— А зачем понимать? Просто живи и слушай своё сердце.

— А ты слушаешь своё сердце?

Он улыбнулся. Помедлив, кивнул.

— И что оно тебе говорит? — прошептала я.

Самойлов не ответил, только посмотрел серьёзно и внимательно.

А потом медленно придвинулся ко мне, совсем близко, я даже почувствовала горячее дыхание на губах.

Сейчас поцелует, догадалась я. Надо отойти, ведь нехорошо это, неправильно, да и вдруг кто увидит. Но почему-то замерла, и глаза сами собой закрылись.

Нежное касание, едва уловимое... но земля тотчас поплыла из-под ног...

— Зоя! Зоенька!

Хлопнула дверь, и на крыльцо вышел папа. Я испуганно вздрогнула, открыла глаза. Самойлов все ещё был рядом, я чувствовала его запах, его тепло, его взгляд горячечный.

Не надо! Только не при папе! Хотела отпрянуть, но он стремительно наклонился и, задев мягкими губами ухо, прошептал:

— Ты ещё узнаешь, что оно говорит. Обещаю.

Затем так же быстро отстранился и пошёл вдоль по улице. Оглянулся раз, другой, коротко махнул, а я смотрела вслед и невольно улыбалась.



## ГРИГОРИЙ ВИХРОВ



### «Просыпается плачущий Спас...»

#### 1. Братишка

Пока золотая не выпала слёзка,  
Пока не закрыта закатная книжка —  
Поддержит бельчонок —  
Братишка и тёзка:  
«По имени Минька?»  
«По имени Гришка»  
Стремительный парень,  
Рисковый, сердечный  
Почует — от боли, едва не завою.  
Поскачет по липе.

Вдоль просеки млечной,  
Промчится зимою,  
Запляшет весною.  
Нечаянный блик  
Дорогого светила.  
Храни тебя зёрнышко  
Вечного чуда.  
О! Только б любовь  
Меня не отпустила  
Высокого гула для милого люда!

---

ВИХРОВ Григорий Иванович родился в 1961 году в старинном городе Коломна. Служил в армии, работал в Сургуте. С 1984 года жил и работал в Иркутске, где в 1986 году родилась его дочь Анастасия, и в 1988 году вышла первая книга «Мои дорогие». Член Союза писателей России (СССР) с 1989 года. Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность». Лауреат 7-й и 8-й Артиады народов России: «Литература. Лига мастеров. Гильдия профессионалов» (2003 и 2011 гг.). Лауреат 1-й степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад» (2020). Поэт, переводчик, преподаватель высшей школы Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Автор 10 книг. Живет в Москве.

## 2.

Метельный день. Бредут старушки  
С малышкой Стешей.  
Все мы от ёлочной игрушки,  
От хвои свежей.  
За год — столетняя усталость.  
Снежки подруги.  
И охлаживают малость  
Ладони вьюги:  
Виски, Уголья площадные  
Стволы, могилы,

Грехи чужие и родные,  
Все грабли — вилы.  
По щучьему веленью-жабры  
Взрастил до срока.  
Дышу уверенно и жадно,  
Неодиноко...  
В метельный день тропой ущербных  
Брести до Слова.  
Все мы — от птенчиков от вербных  
И льда лесного.

## 3. Псалтирь

Прощай, прости.  
Не победит обида.  
Открой Псалтирь —  
Псалмы Давида.

За каждым яростным псалмом  
Бушует солнце за холмом,  
И жизнь проходит не для вида  
Прощай. Прости.  
Не победит обида.  
Открой Псалтирь —  
Псалмы Давида.

Жар продирает до костей,  
И гнев, и кротость ждут гостей  
Пылает древняя жаровня  
Есть у неё сестра и ровня  
Да, чаша певчая твоя  
С осадком быта-бытия  
А в нём — то ты замешан кровно.  
Прощай. Прости.  
Не победит обида.  
Открой Псалтырь —  
Псалмы Давида.

\* \* \*

*Дарение Ирине Орловой*

Пока ты нужен здесь — тебя никто не тронет,  
Не обгорит перо, и волос не утонет.  
За серебро хватался стар и млад,  
И тонущими океан богат:

Недаром бесподобные русалки  
С тобой играли в прятки или в салки.  
Ты всех любил, и, значит, нужен здесь,  
Гуляет боль в костях и в сердце — злая резь  
И даже немота преследует порою,  
Как солнце, гаснущее за горою,  
Не тронет лютый зверь, трёхзлачное число,  
Недаром на тебя полнеба намело.  
Мороз — ещё с тобой, почти что напоследок  
И радуется гурьбой, хохочущих соседок  
Румяных, как заря, лихих крепостников:  
Лобзает мир тебя. Ответил — был таков...  
На облако залезь — слезою не уронит.  
Пока ты нужен здесь — тебя никто не тронет!

### Отсутствие

Нет меня какой-то час.	Соберутся доброхоты,
Время лечит. Время губит.	Надерутся остряки.
Кто ж помолится за Вас?	
Кто ж в молитве приголубит?	В сердце выбито окно, Ветер радуется без меры.
У стенающей реки —	Не отсутствие страшно,
Время ловли и охоты.	А присутствие без веры.

### Бумага

*Георгию Пряхину*

На белые, долгие стены	Бумага не терпит обмана,
Прольются хвала и смола	Какой бы она ни была:
Бумага не терпит измены —	
Какой бы она ни была.	Она — и добра, и сурова, И гостеприимна дотла.
Ложится небесная манна	Бумага — падений обнова
На потные наши тела.	И взлёта... И нет им числа...

### Из дневника

Людей — всё жалче. Жалко мне людей,  
Пылающих в планетном лазарете.  
Ну, что же, повар благостный Гордей,  
Какую кашу душишь на плите?  
Какую ёмкость держишь на примете?

В котле эпохи, в колоколе дней  
Кипящим варевом неубеждённый

Я мандрагоры пил мольбы корней,  
К сейсмической судьбине присуждённый  
И золото ненасытное текло,  
И платина плодилась пузырями.  
Короны уходили за крыло  
Над вашими беспутными царями.

Как я страшусь немилости Твоей  
И, ожидая милости высокой,  
Ещё лечу над зимнею осокой.  
И хлещет кровь из крыльев и ступней...

\* \* \*

Расцвет свинцовый. Полдень ртутный.  
Поэт сердешный — не у дел.  
А с колокольни б  
Дьяк Крякутный  
В подобный день не полетел.

Народ застыл, сжимая шапки,  
Потом завыл, неторопясь:  
— Ломайте крылья,  
Рвите тряпки —  
И связь времён, и с Богом связь  
Кому сквозь землю провалиться,  
Кому в свирепую врати.  
Тебе счастливо приземлиться  
Восьмое небо обрести...

## Соль любви

*Моей родной жене*

Не спеши. Мешок пудовый	Сколько соли славной съели
Соли старой, соли новой	Белых. Розовых пластов.
Обретать при ясном дне	Чумаки не надоели
Чёрной ночью. В крепком сне	Их возы — всегда при деле
Не гневи души здоровой,	Не спешат: ковыль и ели
Не тревожь души больной.	Освещает Свет Христов
Соль земли моей суровой —	И союз наш — неслучайный
Соль любви моей родной.	Освещает луч венчальный.

## Матушка

Во Спасение и спасения	И душа моя, странница пленная,
Помогает блокадница Ксения	С нею слёзною просьбою делится,
Петербургская, Ленинградская.	Не покинутая, надеется:
Сила сестринская и братская.	На свидание в мире тающем
В светлой матушке, накоплённая	слова здешнего в Слове тамошнем.

\* \* \*

В доме молятся. Гаснет Содом.  
И Гоморра уютно темна.  
В тихой памяти молится дом  
И завалена снегом луна.

За оградой — терновый венок  
Закачался, морозно звеня.

Ёлка-ёлочка-хвойный щенок —  
На опушке последнего дня.

Поздний путник шагает с трудом:  
От войны до войны, на войну  
В доме молятся. Молится дом.  
Я свечою в глаза загляну.

## Раны

### Из сна

Разговор на окраине неба.  
Телефонная будка — в цвету.  
На бикфордовой верности нерва  
В разговоры ушедших врасу:

Нелегко набирается номер,  
Не пытайся его набирать.  
Мой товарищ признается: «Помер!»  
Не спеши тяжело умирать

Над автобусом детским — чужбина.  
Похоронки отцовской крыло  
И чело непослушного сына  
Гладит мать, заклиная стекло.

Принимаем лихие погоды.  
Телефон продолжает звонить:  
Всё машины, двуколки, подводы...  
Чревобесия не отменить.

Мой товарищ! За сколько оболгов  
Зачинают всеиродский суд —  
новосёлы везут новосёлов  
Из Одессы, Донецка везут.

Ветви ржавой сирени обнимешь.  
На окраине жгут небеса.  
Раскалённую трубку поднимешь —  
Голоса захлестнут, голоса.

*28.05.2014. Москва*

\* \* \*

Поздно бедствовать, горестный кров  
Истлевает, огнём унывая  
Эшелонами шалунов  
Не насытится передовая.

Миллионы сомкнутся в луче  
Всепопобедного Архистратига  
Плачет мать в темноте, при свече  
И доньне листается Книга.

Помогите во гнев не упасть!  
На поклонное слово кивая.  
Вот страницы — небесная часть  
Восковая она, войсковая...

*26.06.2014 г. Москва*

\* \* \*

Крест-накрест стёкла  
Со двора  
В Ростов сбежала детвора  
Пыль золотится.  
Лётчик зряч.  
Сдувается футбольный мяч,  
По-человечески труслив.  
Не пьёшь сливянки.  
Дивных слив  
Не заготовить в этот год.  
Живое лето за народ  
Куда же ты, хранитель мой,  
Шатающийся и хромой?  
В землянке русского затишья  
Затеплить три четверостишья...

*01.07.2014. Москва*

### **Вечная бакалея**

Не спеши в полыхающем сне	Я умру... напишу о другом,
Долетать до хрустальной реки.	Не желая тебя обмануть.
Догорают на братской войне	
Спички... спичечные коробки.	Истощается свечек запас.
	Крупной солью торгует сосед.
Непроглядная темень кругом,	Чай да сахар меняют на Свет
Но течёт очевидная муть.	Просыпается плачущий Спас.

*4.03.2022. Москва*

### **Обретение**

Из горла разбитого храма  
Живая захлещет вода  
Того, кто родился до Срама,  
И не доживёт до Стыда.

Того, кто семижды сожжённый.  
Поддерживал пламень полков:  
Поющий, немой, прокажённый  
На пьянке чужих языков.

Пылая судьбой безземельной,  
Увёл за собой племена.  
За Родиною... колыбельной  
О! Боже! Твой голос она.

*18.03. 2022. Москва*

## Волноваха

Поп — с гранатой и рожком  
Автоматным.  
Мир не кажется грешком  
Ароматным.

Беззащитен и кровав,  
И картечен.  
Плоть разорвана и нрав  
Изувечен.

Ночь — портянкою сырой,  
Горем ржавым.  
Шепчет батюшка-герой  
Прихожанам:  
— Нескончаемая сечь.  
Дух немеет, —  
Ангел с гусями и меч  
Пламенеет.

*23.03.2022 г. Москва*



ДЕНИС ГЕРБЕР



## Приснившаяся змея

РАССКАЗЫ

### Баклажан на дынной лозе

Отец Дмитрий, настоятель Посольского Спасо-Преображенского монастыря, проснулся еще до рассвета от резкого запаха одуванчиков. Откуда такое благоухание? — удивился он. Отродясь в его келье ничем, кроме ладана и свечных огарков, не пахло. Одуванчики. Будто молодая дуреха сплела языческий венок, бросила в реку, а волны принесли его прямо под кровать. Отец Дмитрий едва сдержал навязчивое желание заглянуть под дощатое ложе.

Он втянул носом прохладный келейный воздух. Запах как будто исчез. Да и существовал ли он наяву? Игумен припомнил растаявший сон. Виделись ему серые льдины, уходящие из-под ног. Никаких одуванчиков там не было и быть не могло. Как раз они-то и прервали видение, заставили открыть глаза. Следовательно, это — обонятельная галлюцинация, касание демонической сущности. Когда-то духовный наставник призывал его — тогда еще молодого послушника — с недоверием относиться ко всяким явлениям мира духовного, помнить правило «не принимать, и не отвергать»: наступит срок, и время само родит понимание.

---

ГЕРБЕР Денис Владимирович, прозаик, журналист, радиоведущий. Родился в 1977 году в г. Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Автор приключенческих и исторических романов о Сибири. Автор книг «Заблудшие» (2018), «Временщик» (2021). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Живёт в Ангарске.

Отец Димитрий прошелся по келье, обдумывая происходящее. Похоже, в потаенной гордыне он забыл, что каждый человек в силу греховного естества подвержен влиянию бесов. Монастырские стены и сан иеромонаха не гарантируют защиты, необходимо остерегаться на всех ступенях. И чем выше ступень, тем серьезнее атакующий демон... Нет, опять гордыня. Возомнил себя овечьим благодатью!

Оберегая ум от греховных чувств и страстей, отец Димитрий предался Иисусовой молитве. Нужно «хранить входы» — слух, зрение и осязание, отстраниться от внешнего. Неужели обоняние — еще один «вход»? — подумал игумен. Должно быть так, если этим путем и проникает запах одуванчиков — теперь воображаемый.

Он молился, пока по коридорным доскам не проскрипели шаги будильника — брата Иосифа. Гулко затрезвонило малое било, нарушая утренний покой. «Просыпайтесь, братья!» — басил Иосиф, проходя мимо келий.

Отец Димитрий глянул в окно, отыскивая Венеру. Это был его собственный ритуал на начало дня, такой же неизменный, как «молитвенное правило» и умывание. Еще в молодости он прочел в каком-то журнале, что вид голубой звезды полезен — успокаивает. Жрецы Древнего Египта заставляли неофитов каждое утро лицезреть Пересекатель (так они называли Венеру) и сами на нее охотно смотрели. Собственно, никакой другой звезды отец Димитрий и не мог отыскать на небосклоне, а тут в монастыре она сама заглядывала в оконце. Это ли не знак свыше?

То, что сегодня увидел на небе отец Димитрий, ввергло его в смятение. Рядом со знакомой утренней звездой красовался еще один огонек — такой же маленький, с таким же голубоватым блеском. Похоже, у Венеры появилась сестра. Не горная ли нимфа Эхо — вечная спутница античной богини?

Несколько минут он разглядывал звездочки, потом встрепенулся: что если это — очередная галлюцинация, на этот раз — зрительная?

Прихватив полотенце и щетку с пастой, священник оставил келью и спустился на первый этаж к умывальне. День побежал по привычному распорядку: молитва, литургия, назначение послушаний, трапеза.

Отец Димитрий соблюдал трезвение, отмечал каждую мысль, малейшее душевное колебание, и старался не думать о странном начале дня.

Ему уже исполнилось пятьдесят четыре. Восемь последних лет он провел здесь, в монастыре на берегу Байкала, три из них — в сане игумена. За этот короткий период в обители сменилось немало лиц. Братья появлялись и исчезали — переходили в другие монастыри, отправлялись в мир. Безмятежным внутренним взором священник видел причины этих метаний, как опытный автослесарь по виду машины определяет скрытые дефекты. Пустомыслие, праздность, смехотворство, безволие и привязка к земному, — все это перемалывало души людей, гнало их с места на место, точно оголодавших зверей в поисках лучшей доли.

Да, что там звери! Взять хотя бы Басика — одного из монастырских котов — так этот белый с леопардовыми вкраплениями зверек поучит степенности любого монаха, хоть и таскается по деревенским девкам. Монастырская жизнь вполне его устраивает: главное послушание — греться на солнышке, вместо благодати — рыбный запах с Байкала. Вот и сейчас Басик на излюбленном месте — на побеленной кирпичной ограде, откуда хорошо просматриваются и трапезная, и пекарня.

Отец Димитрий, еще будучи диаконом, сам притащил в монастырь этого кота — писклявый комочек, забившийся от собак под строительные леса. Сначала Басик

жил в его келье и дарил радость: мурлыкал как заведенный, терся о ноги, игрался со свисающими концами ораря. Кота подвело отсутствие должного благоговения. Сначала он скинул на пол Ветхий Завет и выдрал из него половину листа, — на оторванном клочке оказалась фраза из Третьей книги Царств: «... на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». Затем совершил кровавую жертву — подбросил под келейную икону придушенного воробья. Дальше — больше: Басик проникал в чужие кельи и отвлекал насельников от молитвы, грыз просфоры, распространял блох. Однажды Басика заперли на ночь в Никольском храме: там завелись мыши. Кот никого не поймал, лишь опрокинул семисвечник, нагадил за жертвенником и уснул на ризнице.

Теперь Басик ютится в сарайчике за трапезной. Доступ в кельи ему перекрыли. Да и что коту там делать? Возле трапезной всегда можно разжиться съестным, даже во время поста.

После обеда в монастырь наведались посетители. Сначала прибыли четверо солдат срочников из ближайшей части. Брат Лука устроил им экскурсию по историческим местам, вывел за ограду к байкальскому берегу — к тому месту, где в XVII веке ясачные люди хана Тарухая расправились с посольством Ерофея Заболотского. Надпись на чугунной плите гласила, что монахи, основавшие здесь скит, назвали его «Посольским» в память о предательском убиении и бессовестном грабеже. Солдаты слушали внимательно, но интереса не проявляли, будто воинский устав запрещал им впечатляться.

Затем появились странные гости. Отец Димитрий заметил трех буддийских лам в красно-оранжевом одеянии. На фоне травки и цветущей черемухи ламы выглядели отголоском былой осени. «Откуда они здесь взялись? — удивился игумен. — Может, по министерской линии?» Посольский монастырь был тесно связан с МИДом. Сюда приезжали консулы и полномочные послы, едва ли не каждое лето организовывались стройотряды из студентов МГИМО.

Буддистов сопровождал брат Кирилл. Он подошел к настоятелю.

— К нам гости, — пояснил он. — Один лама с Гусиноозерского дацана и двое с Монголии.

— Из посольства? Почему не предупреждают?

— К вам, батюшка. Лично. Из Улан-Удэ приехали.

Бурята из Гусиноозерска звали Алтан. Несмотря на зрелый возраст, он годился во внуки своим монгольским спутникам. Один из лам — несколько полноватый — мучился одышкой, обтирал платком блестящий лоб. Другой больше походил на ящера, — он передвигался, чуть подавшись вперед, ухватившись бронзовыми косяшками за трость. Сухое раскосое лицо усеяли пигментные чешуйки.

Гостей проводили в домик настоятеля, где принимали заезжих дипломатов. Когда расселись за столом, первым заговорил Алтан:

— Ламы почти не изъясняются по-русски. Меня посвятили во все вопросы.

Полный лама перебил его, что-то вставив по-монгольски. Алтан спохватился и полез в шелковую сумку, недавно висевшую на его плече, а сейчас опущенную на пол.

— Сначала просили вручить подарок, — пояснил он.

Бурят извлек из сумки несколько предметов и расставил на столе. Отец Димитрий недоуменно оглядел вещи. Перед ним лежали злодейски изогнутый кортик с серебристым драконом на рукояти, плоская костяная шкатулка размером с карманный справочник, шар из зеленого камня, бамбуковая флейта и войлочные тапки.

— Что это? — спросил игумен.

Бурятский лама провел ладонью над странными дарами, словно отгоняя невидимых мух.

— Выберите подарок сами. Такова традиция.

Отец Дмитрий совсем растерялся. Он не принимал даров лично для себя. На монастырские нужды — другое дело. А что толку от этих непонятных вещей, к тому же насквозь пропитанных чужеродной верой?

Монголы насторожились, будто поставили целое состояние на результаты выбора. Ящероликий даже перестал дышать.

Желая поскорее покончить с непонятным ритуалом, игумен выбрал костяную шкатулку — ему стало любопытно: что внутри.

Старый лама со свистом выпустил воздух и заговорил шипучим голосом. Когда он закончил, Алтан благоговейно склонил голову, а потом обратился к отцу Дмитрию:

— Мне позволили говорить от имени монгольских учителей. Это — Бадма-лама, — он указал на круглолицего, — и Очир-лама, — бурят поклонился ящеровидному. — Они приехали с монастыря Гандан с особой миссией. Ламы отыскивают новое воплощение хубилгана — Учителя Сандан-гэгэна. Вы, должно быть, знаете, что великие души, достигшие просветления, нередко возвращаются на землю, хоть карма их исчерпана. Перед уходом они оставляют подсказки, в какой физической форме и где проявится их сущность. Обычно ребенка находят быстро.

— Я знаком с буддийской философией, в общих чертах. Но что привело вас в монастырь? Тут детей нет.

— Чтобы пояснить, нужно начать издалека — с личности Сандан-гэгэна. Много покажется вам непонятным, и неприемлемым для православного человека, тем более — для священника. Я заранее прошу прощения.

Пожилые ламы сочувственно покачивали головами — они понимали, что речь пойдет об ушедшем Учителе.

— Сандан-гэгэн вырос в небольшой деревушке. В шесть лет он был признан воплощением тибетского учителя Намган Римпоче. Его отправили в Тибет. В восемь лет он уже принял начальные монашеские обеты, а в двадцать два вернулся на родину почитаемым ламой. Сложно перечислить всё, что сделал Сандан-гэгэн для монгольских буддистов, да это сейчас и не важно. Важно, что собираясь покинуть форму, он напомним правило перевоплощения хубилгана. Не собственная воля приводит того на землю, а возможность принести пользу. Иными словами, будущие ученики сами притягивают воплощение учителя. Сандан-гэгэн почувал это кармическое притяжение и оставил знак.

Бурятский лама говорил спокойно, тщательно подбирая слова. Было заметно, что он избегает непонятных терминов, по возможности подбирает русскоязычные аналоги.

— Вам должно быть не знакомо слово «терма», — продолжил он. — Это тайные наставления, священные тексты или предметы — спрятанные в разных местах. Их может отыскать лишь тертон — своеобразный лама-кладоискатель, — Алтан уважительно скосился на полноватого священника. — Бадма-лама и есть такой тертон. Он обнаружил терму Сандан-гэгэна.

— Где он ее отыскал? — полубопытствовал отец Дмитрий. Ему и вправду стало интересно.

— Видите ли, существуют разные термы. Некоторые из них прячутся в земле, в скалах или в озере. Но есть и так называемые «термы ума», они хранятся в

«неразрушимой сфере». То, что оставил Сандан-гэгэн, как раз и было термой ума. Бадма-лама нашел ее во время медитации.

Отцу Дмитрию показалось, что его разыгрывают. Что взбрело в голову старому буддисту, что они приехали сюда?! Из вежливости он все-таки спросил:

— Что в ней сообщалось?

— Время нового воплощения. Это были астрологические знаки. Сандан-гэгэн перевоплотился мгновенно, миновав бардо. Конечно, нужно учитывать нахождение плода в утробе матери с момента первого биения сердца. Ламы-астрологи высчитали точный день. Терма указала и место воплощения — некую Страну снегов. Все были уверены, что Учитель переродится на своей прошлой родине — в Тибете. Ламы провели старинный ритуал на берегу священного озера. Водная гладь показала место нынешнего рождения Сандан-гэгэна. Это оказался не Тибет, а Россия. Хубилган родился здесь, в Забайкалье.

— И что же дальше?

— Ламы приехали в Россию. Они отыскивали всех детей, родившихся в указанный день. В первую очередь проверяли семьи лам и бурят-буддистов. Искали долго, но безрезультатно. Затем пришла весть, что китайцы объявили некоего тибетского мальчишку перерождением Сандан-гэгэна, и ламы вернулись на родину. К сожалению, выяснилось, что мальчик является ложным хубилганом. Такое иногда случается, китайцы определяют перерожденных по политическим мотивам. Тибетские и монгольские ламы не признали воплощение, и поиски продолжились. Бадма и Очир снова приехали в Россию, они использовали все знания, полученные от астрологов. Круг потенциальных хубилганов сузился. Тогда настало время последнего и самого важного ритуала — проверки предметами. Его Величество Далай-лама говорит, что это главный указатель.

— Какие предметы?

Лама снова провел ладонью над разложенными по столу вещами.

— Ребенку предлагают выбрать один из нескольких предметов. Перерожденец почувствует вещь, которой владел в прошлой жизни. И выберет ее.

— Вы хотите сказать... — на игумена накатило предчувствие неминуемой катастрофы.

— Да, отец Дмитрий. Вы и есть новое воплощение хубилгана Сандан-гэгэна, продолжателя линии тулку Намган Римпоче.

Для уха православного священника это прозвучало как изощренное оскорбление. Сначала отец Дмитрий расхохотался, затем ощутил подступающую злобу — греховное чувство, о котором «срамно есть и глаголати».

Пожилые ламы поднялись с кресел и торжественно склонились перед батюшкой.

— Погодите, погодите! — торопливо начал игумен. — Это какая-то ошибка.

Предчувствуя его реакцию, бурятский лама уже полез в сумку и вынул сиреневую папку. Отцу Дмитрию показали портрет Сандан-гэгэна. С черно-белой фотографии смотрел плосколицый монгол с медной короной на голове.

— Великий хубилган ушел из проявленного мира 10 сентября 1963, за шесть месяцев до вашего рождения. В оставленной терме он сообщил, что новое имя укажет на природу Бодхисаттвы. Ваше мирское имя — Михаил, не так ли? Оно означает «Подобный Богу».

Алтан извлек другой лист и протянул настоятелю. Это была танка, изображающая сидящего под деревом монаха. Нарисованный лама держал в руках нечто вроде маленького самовара, а его голову венчала черная папаха.

— Когда Сандану исполнилось четыре года, он уже вспоминал прошлые воплощения. Однажды он слепил из глины шапку Кармапы, — лама ткнул пальцем в черный головной убор на картинке, затем протянул игумену следующий лист. — А этот рисунок вы, наверное, вспомните.

Отец Дмитрий принял картон с акварельной мазнёй. В центре чернел квадрат с вертикальными жёлтыми полосами, украшенный четырёхлепестковой ромашкой. Все это походило на шапку буддистского святого. Игумен перевернул лист и прочел на обороте: «Миша Остроносков, 4 года». Что-то пронзительно тоскливое защемило внутри. Это был его детсадовский рисунок.

— Человек многое приносит из прошлой жизни. Прежде всего — любовь к близким. Связь с друзьями и учениками сохраняется. Я слышал, вы привязаны к своему коту. Его зовут Басик?

— Да.

— Сандан-гэгэн очень любил ученика по имени Басаан.

Игумен вытаращил глаза.

— Вы хотите сказать, он перевоплотился в Басика?

— Нет, что вы. Просто вы сохранили дорогое имя. Басаан сейчас здесь, теперь его зовут Очир-лама.

Алтан указал на ящерику. Монгол с безграничной любовью взирал на игумена. Глаза старика слезились счастьем.

— Но ведь я не буддист. Разве возможно... — отец Дмитрий замолчал, удивленный тем, что рассуждает на подобные темы.

— Это не важно. Хубилганом движет бодхичитта — желание помогать и страдать всем людям. Он воплощается там, где наиболее полезен. Иногда его земное проявление вообще не связано с религией. «Пути господни неисповедимы», — так говорят христиане. То же можно сказать о карме.

Ненадолго воцарилась тишина.

Отец Дмитрий рассматривал картинку, нарисованную его рукой пятьдесят лет назад. Должно быть, ламы основательно потрудились, раз отыскали такое.

— Вы знаете, что христианство порицает реинкарнацию как заблуждение? — осторожно продолжил он. — Я не могу принять всего сказанного, даже из уважения.

Похоже, что ламы обрадовались такому ответу.

— Мы и не ожидали иного, — сказал Алтан. — Простите, что потревожили. Наверное, было ошибкой сообщать взрослому человеку такую информацию. Особенно — священнику.

Настоятель удивился. Он уже готовился к предстоящему диспуту о реинкарнации, намеревался дать буддистам достойный отпор.

— Зачем же вы меня отыскали?

— Учителя желали увидеть вас и убедиться в неисповедимом пути... кармы.

Скрюченный Очир-лама смиренно притронулся к руке игумена. Полноватый буддист поклонился. На этом встреча закончилась. Ламы уговорили отца Дмитрия сохранить костяную шкатулку — подарок, отправленный им же самим из прошлой жизни.

У ворот к ним подбежал Басик. Кот боднулся о ноги настоятеля, выгнул спину и ревниво скопился на чужаков.

— Ба-сик! — с монгольским акцентом сказал Очир, улыбнулся и ткнул себя в грудь коричневым пальцем: — Ба-саан.

Отчего-то это развеселило лам, около минуты все трое хохотали — каждый на свой манер.

— Помните... Знаете, что означает это имя? — поинтересовался Алтан. — Басаан — это Пятница. В Монголии и Тибете некоторых детей называют в честь дня недели, когда они родились. И в честь соответствующей планеты. Басаан — значит пятница и Венера.

Прежде чем навсегда попрощаться, Очир-лама протянул игумену конверт и снова ткнул себя пальцем в грудь.

Отец Димитрий, полный самых противоречивых чувств, стоял посреди монастырского двора и смотрел вслед удаляющимся ламам. За воротами буддистов ожидал голубой микроавтобус. Алтан помог старикам забраться в салон, сам сел рядом с водителем. Окотив асфальт сизым выхлопом, автомобиль уехал.

Уже близился час вечернего богослужения. У отца Димитрия оставалось тридцать свободных минут. Неторопливо он пересек двор и вышел к Байкалу. Веяло вечерним холодком. Ветер, точно перекаати-поле, волок по небу завернутые тучки. Игумен сел на камень недалеко от могил вероломно убиенных посланцев.

Много веков на этом берегу сталкивались два мира — православная Русь и многоликий Восток с буддийскими монахами, языческими шаманами и мусульманскими полчищами. Иногда миры враждовали, теснили друг друга, иногда существовали бок о бок, переплетались, точно пальцы двух рук.

Оглядев байкальские волны, отец Димитрий черпнул душой умиротворение и распечатал конверт. Внутри хранился сложенный втрое лист, исписанный ровным почерком.

«Уважаемый отец Димитрий!

Очень хотелось бы обратиться к Вам привычным именем, чтимым мною с детства. Однако мне следует воспринимать Вас как самостоятельную земную личность, точнее — очередное сочетание сканд.

Я пишу это письмо, не зная наверняка: отдам его Вам или нет. Все зависит от результатов нашей встречи.

Возможно, Вы воспримете разговор как оскорбление. Поверьте, мы не преследуем такой цели. Мы не стараемся Вас убедить. Напротив, я надеюсь, Вы отвергнете все услышанное. Почему? Потому что это докажет серьезность вашего погружения в христианство.

Мы собирали доказательства прошлого воплощения не для того, чтобы поколебать вашу веру. Мы хотели испытать ее.

Если Вы читаете мое послание, значит — остались непоколебимы, и я был прав: ваше рождение православным монахом — не ошибка и не причуда кармы. Очевидно, Вы прозрели правильность этого пути, нашли его полезным. Пока я только могу положиться на вашу мудрость и, как верный ученик, последовать за Вами. Как бы странно это ни прозвучало, но карма ведет меня к православию.

Я надеюсь на ваше благословение, когда в скорейшем перерождении окажусь рядом и вновь стану вашим учеником.

С уважением и безграничной любовью к Вам, Очир (Басаан).

Записано и переведено хуваракон Иволгинского дацана Данзаном Дорбоевым».

Отец Димитрий долго удерживал трепыхающийся на ветру лист. Поверил ли он сказанному? Ламы были искренни, и доказательства выглядели убедительно, однако перевоплощения игумен принять не мог. Все это было искушением, и он порадовался, что в душе не заворчалась гордыня. Нужно служить Богу и людям, а ламы пусть перевоплощаются куда хотят.

Вспомнив про оставленную костяную коробку, настоятель вернулся в до-

мик-приемную. Он открыл подарок. Внутри было пусто. Похоже, когда-то коробка служила для хранения благовоний или лекарственных трав. Тут и там чернели смолистые пятна, пыльца настырно забила в уголки.

Отец Дмитрий принялся и почуял пьянящий запах одуванчиков.

## Будитлянин, или Приснившаяся змея

Если судить по фотографиям в семейном альбоме, предки К. все как один были интеллигентами. С пожелтевших карточек смотрели: родители — оба сельские учителя, одетые строго и опрятно; дед с бабкой, сфотографированные в своей библиотеке (неизменный задник из пухлых томов); дяди и тети — кто за письменным столом, кто за кафедрой, кто в лаборатории. Был даже снимок младшего брата дедушки (мать говорила, таких принято называть «старый малый»), где родственник стоял едва ли не в обнимку с Курчатовым. Еще один неизвестный предок был облачен в рясу и скуфью — не интеллигент, конечно, но и обычным человеком не назовешь.

Разглядывая альбом, К. всегда испытывал легкое уныние. Иногда — тревогу. Ему чудилось, будто у него внутри шевелятся «интеллигентские гены» — пробуждаются, намереваясь и его посадить за письменный стол или превратить в ученого. Частички голубой крови содержались в организме, как бактерии туберкулеза. Полностью их не искоренишь, но можно сдерживать, контролировать, чтобы зараза не множилась. Собственно, для этого К. и пересматривал старые фотографии — чтобы не забывать, в кого со временем может превратиться. Курильщикам и алкоголикам ведь показывают снимки запущенных больных.

Становиться интеллигентом К. не планировал; ему претила даже мысль, что он станет носить очки и шляпу, разговаривать чеховским языком и рыться в книгах. Все это казалось разновидностью деградации. Чтоб обезопасить себя от интеллигентской угрозы, К. поступил в колледж и выучился на автомеханика. Окончил кое-как, на тройки. Любые проявления творчества и тягу к знаниям глушил пивом, марихуаной и голливудским кино. Не читал ничего, кроме надписей на стенах подъезда и газеты «Советский спорт», где его интересовали статьи о футболе.

В девятнадцать лет в его жизни появилась постоянная подруга Варя, которая через полтора года сделалась женой. Родилась дочка с непролетарским именем Сюзанна. Жизнь потекла размеренно и просто. Все как он хотел.

И вот однажды, когда К. подзабыл и про семейный фотоальбом, и про «интеллигентский туберкулез», вирус прорвался снаружи, причем из самого, казалось бы, безопасного источника — от Ромки Козакова, напарника по автомастерской.

Ромка носил спортивный костюм, в котором меньше всего походил на спортсмена, всегда коротко стригся, не стеснялся бугров и шрамов на голове, и сплевывал после каждого произнесенного предложения — будто точку или восклицательный знак ставил.

— Вчера с Бурым абсент пили, — доложил Ромка, вытирая ладони тряпкой. — Чувствую себя, точно подвергся Загадочному Ожесточенному Воздействию — ну, как в том фильме у Гринуэя. Хочется летать, а приходится под машинами ползать.

Он только что вылез из-под автомобиля, и на страдальческом похмельном лице блестело машинное масло.

— В каком фильме? — не понял К. Он даже фамилии такой не слышал — Гринуэй.

— Ну, «Падения». Это псевдодокументалистика, про людей, якобы подвергшихся Загадочному Ожесточенному Воздействию. Они мутантами стали, заговорили на инопланетных языках и прочее... — Ромка сплюнул на бетонный пол. — Не смотрел, что ли?

К. немного удивился, но особого значения словам напарника не придал. В конце концов, абсент и правда действует странно. Особенно если с папиросами, которые Ромка вечно курит.

Однако разговоры становились необычнее день ото дня. Ромка упоминал Верди и Кандинского, повествовал про малоизвестного кубинского поэта Гастона Бакеро и художника Чюрлениса — автора картины «Соната моря». Ромка умудрялся сплетать истории о пьянках со стихами испанских мистиков, а байки о своих любовных похождениях украшал постулатами бусидо.

Встревоженный поведением товарища, К. обратился к мойщику Геннадьичу — суровому мужику пятидесяти лет с медным от никотина лицом и словно из того же набора ладонями.

— Не кажется тебе, Геннадьич, что Ромка странным стал? Книжки всякие читает, журналы толстые. Он будто не в сервисе работает, а в университете преподает.

Геннадьич впал в недолгое раздумье — рот серпом, чугунный подбородок, усы как два ятагана.

— Человек всегда на своем месте, — ответил он наконец. — Просто иногда ему кажется, что он хочет другого. Вот Салман Рушди сказал однажды Кроненбергу: «Я, Дэвид, всегда хотел фильмы, как и ты, снимать». А Кроненберг, сучар канадский, удивляется: «Надо же, а я мечтал писателем сделаться!»

— Какой шалман?

От неожиданности К. совсем растерялся.

— Салман Рушди. Букер Букеров. «Шайтанские аяты»... — пояснил Геннадьич, пронзая К. недоуменным взглядом. — Не читал? Может, и Кроненберга не смотрел?

Несколько дней К. ходил на работу как с полиэтиленовым пакетом на голове. Общался мало, все больше по делу. Ему казалось, что наваждение пройдет, если не обращать внимания на странности.

Однако странности не прекращались. Ситуация обострилась однажды вечером, когда в дверь квартиры постучали. Варя и Сюзанна находились на кухне — что-то там жарили и смеялись. К. поднялся с дивана и отпер дверь. На пороге стоял вдрызг пьяный Ромка. Карман на его куртке был оторван, материя свисала изнанкой наружу.

— Ты чего? — удивился К. — Где так нализался?

Он отступил на шаг, но Ромка заходить отказался, поманил в темный подъезд. Они присели в закутке у мусоропровода и закурили.

— Станным ты стал, Ромка, — сказал К. — Прямо не узнаю тебя. Случилось что-то?

Напарник повернул к нему хмельное лицо.

— Я ведь раньше ничем таким не интересовался, — покаялся он. — Пока тебя не встретил.

— При чем тут я?

— Сам не знаю. Какие-то флюиды от тебя исходят — эманации, как сказали бы теософы. Поработаю с тобой в смену — и внутри что-то шкварчит, пробивается. Вот и сейчас...

Он затанулся так сильно, что красный огонек на сигарете сделался продолговатым.

— Что сейчас?

— Чувствую, душу во мне будто вскапывают.

— Кто вскапывает?

— Да ты, ты! — Ромка бросил окурок в мусоропровод, с лязгом закрыл люк и вдруг заговорил высоким штилем: — Иногда испытываешь неприязнь к слишком правильному и честному персонажу кинофильма. Так и меня начинает воротить от собственной жизни — спокойной и бессмысленной. Моя жизнь — постное блюдо! Ой как хочется каждую секундочку солью заправить! И даже не солью — перцем пополам с порошком! Горлодером на крови!

Это прозвучало как цитата — эдакая смесь Шекспира и Шукшина, но К. понял: Ромка говорит сам и от души. Что-то клокочет у него внутри, будоражит, мешает спокойно жить. И винит в этом напарник его, К.

На следующий день Ромка на работе не появился — отзвонился в обед, сказал, что заболел. А вечером загромыхал телефон. К. снял трубку и услышал бодрый голос.

— Я понял все! — кричал Ромка воодушевленно. — Ты будитлянин!

— Кто?

— Русские футуристы Хлебников и Маяковский так называли себе подобных. Только они говорили: будетляне. Через «е», от слова «будет». А я этот термин видоизменил, втокнул в него новый смысл. Я произношу: будитляне, через «и». От глагола «будить». Вот ты, К., и есть будитлянин: ты пробуждаешь людей духовно и нравственно, выводишь из спячки.

К. опустил трубку на рычаг. Что за бред? При чем тут он? Как может ничем не интересующийся человек у других пробуждать тягу к знаниям? Не говоря уже о духовности.

Утром К. сам позвонил в автомастерскую и сообщил, что заболел. Он решил провести хоть один день вдали от безумных коллег. Побывать с женой и дочкой — что может быть полезней для разгоряченного ума?

День прошел прекрасно. Варя начала делать заготовки на зиму. Закатывали овощи в банки, шутили, смеялись. Жена напевала: «Я режу, режу морскую капусту», хотя капусту резала обыкновенную. Сюзанну это жутко веселило, она покачивалась со смеху. Девочка пока ничего не говорила, хотя педиатр еще год назад уверял, что это вот-вот произойдет. Впервые за несколько лет они наделали пельменей. А за ужином, когда дочка уже спала, распили с женой бутылочку перцовки — «малютку», как они ласково называли емкости в двести пятьдесят грамм.

В постели перед сном Варя сказала:

— Какое счастье, что ты у меня есть! Ты — моя приснившаяся змея!

— Что это значит? — насторожился К.

— По-моему, это из веданты, — объяснила Варя. — Парадокс заключается в том, что змея, укусившая во сне, может пробудить человека, хотя сама, по сути, нереальна. Так же и в майе может найтись что-то иллюзорное, что разбудит человека, приведет его к просветлению.

И это говорила жена — ничем, кроме кулинарии и вязания, не увлекающаяся! Варя, у которой чередовалась подписка журналов: год — «Работница», год — «Крестьянка». К. ощутил, как земля (а точнее, кровать) уходит из-под него, а вокруг закручивается невидимая спираль — удавы кольца или что похуже.

«Приснившаяся змея... — повторил он про себя. — Хм. А образ-то красивый!»

Следующий день он решил побыть в одиночестве, занимаясь накопившимися делами. Однако везде, куда бы он ни сунулся, его подстерегали сюрпризы.

Женщина в киоске «Союзпечати» посоветовала взять «Литературную газету» вместо «Советского спорта».

— Там интервью с Кшиштофом Занусси, — обосновала она. — Недурно, можете мне поверить! Сама трижды читала.

Озарение накатило и на ремонтника в обувной мастерской.

— Вы думаете, молодой человек, будто я от скудоумия ваши кроссовки чиню? — спросил он. — Увы, мало кто понимает, что профессия обувщика более всего располагает к размышлению. Недаром Яков Бёме — тот, кого Гегель назвал первым немецким философом, — постукивал молоточком, когда сочинял эзотерические трактаты. Да, он был сапожником, молодой человек! И Сократ чинил сандалии, или что там они носили у себя в Элладе.

Старичок кондуктор в трамвае заговорщицки подмигнул, точно их с К. объединяла некая тайна. Выходя из вагона, К. даже осмотрел билет — нет ли на нем масонской символики или секретного шифра? Два ноля на номере слились в горизонтальную восьмерку — символ бесконечности. Может, это и есть знак? Свидетельство того, что мир вокруг преисполнился высшим смыслом.

Дома за ужином К. с опаской поглядывал на Сюзанну. Не подверглась ли пробуждению собственная дочь? Но нет, двухлетний ребенок неумело орудовал ложкой, как веслом, и шипел что-то свое.

«Слава богу, — подумал К., — есть хоть какая-то опора в мире, и эта опора — дети, которые пока не разговаривают».

А назавтра К. ушел в ретрит. Он заперся в комнате, объявив жене через дверь, что отныне будет выходить только за едой и в туалет. И в такие моменты ему нельзя докучать вопросами. Он сказал, что в дом запрещено приводить посторонних людей. И вообще нужно оставить его в покое на неопределенное время.

К. уединился не с целью просветления. Он решил избавить человечество от своего влияния. Иначе гибель. Что станет с миром, где каждый читает Кафку и смотрит Гринуэя? Некому будет работать в автомастерской. Не о ком будет писать в «Советском спорте» и в «Крестьянке». Толпы интеллигенции — это не только излишне, но и губительно. Интеллигенты и интеллектуалы вымрут без подавляющего большинства рядовых граждан. Недаром же Платон изгонял из своего идеального государства поэтов и...

К. схватился за голову: откуда он это знает? Какой Платон? Что еще за Кафка? Он прошелся от окна к дверям и обратно. Теперь, в одиночестве, он ясно ощутил, что заряжен некой силой, действующей помимо его желания. Это и есть подарок предков. Столетиями сила копилась и множилась, пока на нем не достигла критической массы. Вот что произошло! Крупицы активных изотопов уже сложились, и ядерную реакцию не остановить.

В дверь постучали.

— К., открой! — попросила Варя. — Моя мама приехала, Кристина Анатольевна. Хочет с тобой поговорить.

— Ни в коем случае! — взмолился К. — Не приводи ко мне новых людей!

— Что значит «новых»? — обиделась Варя.

— Никого не приводи!

— Тебе придется с ней поговорить! Она сюда сорок минут на трамвае ехала, с пересадкой.

— На трамвае? — переспросил К. и вспомнил вчерашнего кондуктора.

Что-то знал этот старик, но ничего не говорил, лишь загадочно улыбался. К. выскочил из комнаты, пронесся мимо жены и изумленной тещи. Он прибежал к трамвайной остановке, уселся на скамью и стал вглядываться в подъезжающие и отходящие вагоны.

«Удивительно, все кондукторы такие разные, — думал он. — Грузные женщины, девчонки — едва ли не школьницы, мужики с военной выправкой, суетливые старушки. Ни один не похож на другого».

Только после часа наблюдений К. увидел знакомую фигуру и прыгнул в вагон. Для начала он, как положено, сел и взглянул в окно. Трамвай двигался по четвертому маршруту. К. часто добирался на нем до работы, однако сейчас ехал в противоположном направлении, куда-то в промзону. Падая первый снег, укрывая белым осеннюю грязь, опускаясь на желтые листья.

— Снова вы! — заметил подошедший кондуктор. — Обычно в другую сторону ездите. А тут уже дважды... Работу поменяли?

— Я вас искал, — признался К. и почувствовал себя неловко.

— Чем могу?

Старичок принял плату, протянул сдачу и билет.

— Даже не знаю, с чего начать... Ничего необычного не ощущали рядом со мной? Знаков не замечали?... Извините, я не сумасшедший. Просто вы так подмигнули в прошлый раз. Я подумал...

— Да вы не тушуйтесь, — успокоил старичок и присел рядом.

Его седые усы очень гармонировали с серебристой бляхой «Гортрамвай» на жилете.

— Знаки — они же везде, а в трамвае особенно. По трамваям можно будущее предсказывать, получше, знаете ли, чем астрологические прогнозы будет. А вы просто не на то смотрели.

— Я на восьмерку из двух нолей смотрел, — сказал К. — А на что надо было?

— Ноли ничего не значат, это обычный дефект. Последние две цифры — вот настоящий знак, послание Вселенной.

К. вынул из кармана билет.

— Двенадцать? — удивился он.

Именно единицей и двойкой заканчивался номер на билете.

— Что же это за послание?

— Ну как, двенадцать — сакральное число. Это количество людей, которых может пробудить один человек. Самое, так сказать, оптимальное число, заложенное природой, гармоничная система. Не зря же платоновская модель Вселенной была додекаэдром.

К. с интересом заглянул в стариковские глаза. Голубые зрачки словно плавали в мелких лужицах, раскачивались.

— То есть я пробужу двенадцать — и все закончится?

— Конечно. Всегда так было. Двенадцать олимпийских богов, двенадцать месяцев, двенадцать присяжных, двенадцать нидан, образующих круговорот сансары... Все видят эту закономерность, да никто не обращает внимания. У преподобного Сергия Радонежского было двенадцать общинников, а если кто-то уходил, ему тут же находилась замена. Историки пишут, что Сергей набирал учеников по

количеству апостолов, но ведь такое утверждение — кошунство! Преподобный Сергей был очень скромн и смирен, разве мог он таким образом подражать Иисусу? Даже думать об этом нелепо! Как вы себе это представляете? «Товарищи монахи, сегодня из общины в мир удалился Иосиф. Нужна замена, какие будут предложения?» Или: «Ты, Никифор, конечно, праведный человек, почти святой, но у меня все укомплектовано — двенадцать, как у Христа».

Старичок сам же и посмеялся над этой фантазией, а потом вздохнул, будто мир его смертельно утомил.

Трамвай остановился, и в салон зашли четверо работяг.

— Ну все, мне пора, — сказал кондуктор и поспешил обилечивать пассажиров.

«Двенадцать», — проговорил про себя К. и начал подсчитывать: Варя, Геннадьич, Ромка Козаков, сапожник-философ, Варина подружка Настя, на детской площадке составляющая мандалу из песка и стеклышек... Он насчитал одиннадцать человек, и больше никто в голову не приходил. Разве что соседка с первого этажа, неожиданно принявшая обет молчания. Хотя она, скорее всего, просто сумасшедшая. У нее и раньше закидоны случались.

К. сошел на незнакомой остановке возле пожарной части. Он пересек рельсы и сел на трамвай в обратную сторону. В вагоне было полно замученных людей. К., как и все, угрюмо уставился в окно, но мысли его одолевали особенные, не как у всех.

«Слава богу, скоро все прекратится, — думал он. — С двенадцатью пробудившимися уж как-нибудь справлюсь. Дюжина гармонична — это гораздо лучше, чем просветленный мир с обычным автослесарем в центре Вселенной... Но кто станет этим двенадцатым? С кем я еще не общался?.. Да какая, собственно, разница? Пускай это будет теща. Приду домой — осчастливорю Кристину Анатольевну, и делу конец!»

Дверь квартиры отворила Варя. Вид у жены был радостный, ей явно не терпелось поделиться новостью.

— А где твоя мама? — спросил К., оглядывая из прихожей комнаты.

— Мама уехала. Сказала, что ты странный. Обиделась, кажется... Представляешь, Сюзанна наконец заговорила!

— Ого! И что сказала? Мама?

— Нет! Сидела на полу и вдруг сказала: «Папа».

— Папа?

— Я ей показывала старые фотографии из твоего альбома, а она говорит: «Папа». А потом еще: «Папа выскочил. А то сидел как Пифагор».

— А потом?

— Какое «потом»? Больше ничего. Что ты хочешь от ребенка? Это же ее первые слова! Раздевайся уже, ужинать будем. Я и «малюточку» взяла — отпраздновать.



## ЛЮБОВЬ ЛАДЕЙЩИКОВА



### «У подножья сумрачной державы...»

#### Пламень жизни

Как хрупок мир!.. Но Женщина — идёт!  
И сквозь живот — просвечивает Солнце...  
Не ведая, что взрыв произойдет —  
И — раздробятся вечности оконца,

---

ЛАДЕЙЩИКОВА Любовь Анатольевна — известный русский поэт. Удостоена почётного звания «Дочь города — дочь России». Лауреат семи литературных премий. Книга избранной лирики «Колыбельная тайна» входила в «короткий список» соискателей Госпремии России. С 2005 года — инициатор учреждения и Председатель Комиссии по присуждению Всероссийской литературной премии им. Л.К. Татьянической. Родилась 1 декабря 1946 года в Екатеринбурге (Свердловске) в семье фронтовика, участника взятия Берлина. Окончила филфак УрГУ. Печатается с 1965 года. Автор сотен публикаций в периодике и 15 поэтических книг, изданных в столичных и региональных издательствах. После прочтения четырёх из них: «Свеча негасимая», «Бездна», «Премия Солнца» и «Капсула времени», — классик и единомышленник, писатель Валентин Распутин — назвал творчество Любови Ладейщиковой — «художественной правдой, возвышающей душу»... А Президент Академии Поэзии Валентин Устинов написал: «Поражаюсь планетарным масштабом и одновременно естественностью её горячего, как пламень жизни, дыхания... Это воистину выдающийся поэт, чувствующий Мироздание «от глубин — до звёздных корневищ», самоотверженный и бесстрашный...». Пытаясь преодолеть лавину невосполнимых потерь после ухода в мир иной талантливейших писателей — родных и друзей, Любовь Ладейщикова занимается разбором архивов во имя сбережения их неповторимых литературных миров. Любовь Ладейщикова — единственный ныне здравствующий представитель семьи трёх поэтов, членов СП России (вдова Юрия Конецкого и мама Арсения Конецкого). С марта 2014 года — руководитель «Творческого Семинара» в ЦК «Орджоникидзевский». Член Союза писателей России (СССР). Академик российской Академии Поэзии (Москва). Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

Чтоб вновь собрать в неведомом году  
Пыльцу земли и мыслящее семя,  
И посадить в Божественном саду  
Как уголёк, младенческое время...

В иных мирах, ветрах иных систем,  
Иных планет мерзлотном неуютю,  
Жизнь станет отраженьем, но не тем,  
Что было чудом, плазменный по сути,

Но каждая, решившая нести  
Во чреве обжигающее Солнце,  
Бессмертна и прекрасна на пути —  
К таинственным мирам — с бездонным донцем.

И Женщина, оберегая плоть,  
И разум, и безумные надежды,  
Плывёт, обняв пространство, словно плот,  
И пламень жизни светит сквозь одежды.

2011

### Крестный ключ

Пусть судьба вбирает воедино  
И звёздный дождь, и в поцелуях ночь,  
Лучом восторга осеняя сына  
И стон вонзая в будущую дочь,

Пусть, хмелея от огня и дыма,  
Стирает время буковки в строке,  
История любви — непоправима,  
Как крестный ключ в родительском замке.

2000

### Зачатие сына

Всплеск любви... Час зачатия сына, Вихрь земных и небесных сил, — Все стихии сплелись воедино В пламень страсти, что нас срастил...	Ты прости, на роду вонзили Мы в тебя запредельный Дух, Смыслы слов необъятной силы, Взгляд насквозь и нездешний слух.
--	--

Мальчик мой!.. Кровоток желаний — Двух вулканов — вот плоть твоя! Сколько путь твой вобрал страданий Звездопадного жития!	Уцелеть бы в земной мясорубке С брэнной жизнью накоротке... На спине — от ногтей зарубки На зачавшем тебя витке!
--	---

Ритм совпал и пульс Мироздания  
С извержением душ и тел,  
Сопрягая судьбы созиданье  
С начертаньем негаснущих дел...

Мальчик мой!.. Ты не будешь понят,  
Горечь счастья — не выпьешь до дна,  
Бескорыстье твое не вспомнит  
В мире — женщина ни одна...

Всё раздав до последней нитки,  
Милосердно творя добро, —  
Ты вчеканишь метафор слитки  
На бессонниц своих серебро...

В миг зачатия — сердцем вижу —  
Метеорный, дозорный путь,

И к тебе придвигаю всё ближе  
Состраданьем кипящую грудь...

Вянет веточка пуповины,  
Вечность звездная коротка...  
Ввысь взлетит, но пронзив сердцевину, —  
Вниз сорвется твоя строка...

Мальчик мой!.. Мы с тобою рядом,  
Но разлука близка, держись!  
...Неподвластен процесс распада  
Мне, дарящей любовь и жизнь...

Если ты перейдешь границу,  
За которую тьма и ночь, —  
В бездне той смогу раствориться —  
Но тебя возвратить — невмочь...

2016

## Гадание на карте

*Валентину Устинову*

У подножья сумрачной державы,  
Сжавши горсть осыпавшихся звезд,  
Словно в изголовье горькой славы,  
В нас душа восстала в полный рост.

Взмыла ввысь — и вновь уткнулась птица  
В тень от разворованных широт...  
Тяжелы крыла твои, орлица, —  
Двухматериковый разворот!

Эта ширь сама себя загубит —  
От глубин до звездных корневищ,  
Если запоздало не возлюбит  
Отчина замшелых пепелищ,

Где под шелест вечного гаданья  
Усыхает суша и вода,  
Тихо, словно перья мироздания,  
Сыплются года и города...

...Помнишь, Валентин, как мы стояли  
У державной пасмурной стены,  
И бесстрашным словом подпирали  
Дух и честь стреноженной страны?

...Вновь — до дрожи — память растревожа,  
Воронье неистово кружит...  
Карта, как шагреневая кожа,  
На ладонях вечности лежит.

1998, 2015

## Удушье

1

Сначала пристрелили соловья.  
Расправа... Кровь... Венчание на царство.  
...О, Господи! Что значит жизнь моя  
В сравнении с кончиной государства?

Кто любить способен больше жизни —  
 Родину... И всё ж переживёт  
 И позор, и смерть своей Отчизны, —  
 Тот меня, единственный, поймёт:

В час удушья, в час печальной тризны,  
 В час стыда, распада и потерь,  
 Я рыдала на гробу Отчизны,  
 К звёздам заколачивая дверь.

*12.12.1991*

### Предвосхищенье

Непросто перейти черту...	Где взгляд восторженно искрит
Сегодня — я ещё не знаю —	И губы пробивает током,
Жизнь неизведанную ту,	И тайный трепет говорит,
Где нет ни возраста, ни края,	Что нет ни возраста, ни срока.

Но завтра — опрокину прочь	То наважденье не могу
Все многослойные запреты,	Остановить, остановиться,
И станет многоцветней ночь,	И — на безгрешном берегу
И многомернее предметы.	Предвосхищенье чуда длится,

И — перемкнёт сознание миг	Но завтра, в полночь, я войду
Безумных самовозгораний,	В объятья звёздной круговерти, —
И враз развяжется язык	Чтоб встретиться с тобой в саду,
Непредсказуемых желаний,	Где нет ни возраста, ни смерти.

*2020*

### Капсула

Жизнь — капсула, вмещающая дух,  
 Хранилище огня, любви и света,  
 Двусторчато скрывающая в двух  
 Влекомых половинках страсть запрета.

Прекрасен плод, как капсула сонета.  
 Жизнь мельтешит, как тополиный пух,  
 Но тараканья капсула и мух  
 Жужжание — бессмертия примета.

Жизнь подбирает всех — за слоём слой  
 И в капсулу времен, как пережной,  
 Ложатся звезды, люди, лихолетья...

В ладонях нитрокапсула дрожит.  
Ее принять как чудо надлежит,  
Чтоб пережить тысячелетье третье.

01.12.2000

### Последний всплеск

Слёз не вмещает чаша бытия,  
Но день парит на крыльях голубиных.  
...Живу. Люблю... Зачем? Неужто я —  
Последний всплеск поэзии глубинной?

Склоняюсь перед Родиной с повинной.  
Тиранят сердце острые края:  
Всплывай, моя усопшая ладья,  
Очнись от спячки, богатырь былинный!

Лёг на лопатки весь подлунный мир.  
Добро и разум замутил эфир  
Пиратскою пиаровскою хваткой.

Мозг состоит из половинок двух,  
Но как смердит клонированный дух  
В объятьях одномерного порядка!

2002

### Факел

Душа нетленна... Но земного времени	Взмывая над плевками и объятьями,
Осталось так немного на счету,	Смеясь в лицо льстецу и палачу,
Что я в глаза предательскому племени	Как факел, задуваемый собратьями,
Гляжу, а вижу — мрак и пустоту.	В бесстрашном измерении лечу.

2002

### Заступник

*Валентину Распутину*

В тот миг, когда не к чему прислониться,  
В тот час, когда солнце погасло в груди,  
Спаситель решил за меня заступиться,  
Сказав: «Я с тобой... Не сдавайся! Иди!»

И тело, что было почти бездыханно,  
И взгляд, что как в проруби льдинка, застыл.

Услышали слов его благоуханье —  
Очнулась душа — и прибавилось сил.

И — встала, поверив в величие чуда,  
И жизнь заискрилась, слезы горячей,  
Но слово Заступника век не забуду,  
И длань на моём исхудавшем плече.

2007

## Валентин Распутин

Не глаза, а болящая совесть,  
Не лицо — сострадающий лик...  
Жизнь его — это русская повесть,  
Потому он и в смерти велик.

В душу глядя, как в чистую воду,  
Наставлял он себя самого:  
«Доверять надо больше — народу...»  
Ты услышал ли голос его?

В суете лицемерной, кромешной,  
В толкотне обезумевших лиц —  
Ненавязчивый голос неспешный  
Был похож на шуршанье страниц...

Но читают ли циник и бездарь?  
Гаснет слово во мгле и золе...  
...Вновь разверзлась духовная бездна  
Между злом и добром на земле.

На кого в судный век опереться?  
Боль и беды поведать кому?  
...Он ушел с кровоточащим сердцем,  
Но народ потянулся к нему...

Провожал его в светлое Царство  
Вездесущий провидческий Дух,  
Патриарх и Глава Государства,  
И нетленные взгляды старух,

Как любви неизбывная чаша,  
Сорок дней с ним прощался Байкал.  
...Помни, время невечное наше,  
Что Заступник бессмертно устал,

Но вместил в своё Слово — Россию...  
Книги настезь его отвори:  
Он народную душу — красивой,  
Не снаружи сберег, — изнутри...

*Март 2015–2016*

## Реквием рейсу 778

*М. Р.*

Не зная, как лайнер, взмывающий к солнцу,  
Что вечно продлится высокий полёт,  
Бессмертно глядит в голубые оконца  
Беспечный народ и спокойный пилот.

Не зная, что вспыхнув, сердца бронзовеют,  
И каждое светит в ночи, как звезда,  
Не зная, что лайнер уже не сумеет  
На ждущую полосу сесть никогда,

Не зная, что только крылами коснуться  
Осталось, чтоб став монолитом одним,  
Железо и пламень обнять... И очнуться,  
Как вечное время и лайнер над ним.

2006

## Мост

Век двадцать первый... Судорожный мост,  
Над пропастью нависшая дорога...  
Поскольку дар провидческий не прост, —  
Ищу благословения у Бога.

Чтоб остудить отчаянье в крови,  
Когда от боли корчится планета,  
Я рассылаю импульсы любви  
Во все концы ещё живого света,

Но — нет ответа... Взгляд зелёных звёзд  
Затмил пожар... Хмелеют ураганы...  
И только память — виртуальный мост, —  
Над бездной держит города и страны.

2010

## Ураганный век

Шквалы, войны, кораблекрушенья	Это шторм великого значенья:
Волны дней обрушили на нас...	Мир завис у роковой черты,
Время бурь и жертвоприношенья,	Чтоб, пройдя эпоху очищенья,
Ураганный век и судный час, —	Выйти из духовной темноты.

2012

## Даты

К порогу подошла война,	Моя бесстрашная строка —
Ей дела нет до строчек в рифму,	Не сдаст и не предаст Державу...
Но слов взрывная глубина	А ты сегодня и сейчас
Насквозь пронзила кровь и лимфу,	Готов спасти сестру и брата?
И, отойдя от столбняка,	...Но, как солдаты на часах,
Я чувствую: «О, Боже правый!»	Молчат трагические даты.

2014

## Воскрешенные ангелы

Потемнели безгрешные очи Царицы небесной,  
Над Землей, не смолкая, гремят грозовые бои...  
Кто воюет? Зачем?.. Может, Господу что-то известно,  
Если ангелы взяли оружие в руки свои?  
Бестелесны геройские тени с глазами младенцев,  
Но кровавый котел переполнен и ночью и днем, —  
Если ангелы встали — бок о бок — в ряды ополченцев, —  
Их нельзя победить, уничтожив прицельным огнем...  
Перед битвой — присяга на верность — звучит, как молитва,  
Слово русское стало мишенью войны мировой.  
...Если Разум и Дух — возвращаются в души убитых, —  
Воскрешенные ангелы — вновь возвращаются в строй.

2014

## Величие духа

Когда в головах темнота и разруха — Ни ночи, ни дня, ни пути, Спасти может только Величие Духа: Дай Бог нам его обрести.	Приняв, как награду, прозрения муки, Сегодня, сейчас, наяву, Хотя надломилась крылатые руки, — Величием Духа живу.
---	---

Когда над судьбою сгущаются тени, А сердце трепещет в огне, Величие Духа встаёт на колени И молит о завтрашнем дне...	Величие Духа спасает от боли, От страха, что пуст кошелёк... Встречает душа моя хлебом и солью Высокий небесный порог.
--	---

Величие Духа не знает гордыни, Прозреньё — сильнее беды, Когда похоронишь и мужа, и сына, — Не слёзы спасут, а труды.	И сколько же надобно долготерпенья, Чтоб Вера смогла прорасти? Величие Духа — спасает от тленья, Дай Бог нам его обрести...
--	--

07.05.2019

## Ратное слово

На русском рубеже, не ради славы,  
Я выставляю стих сторожевой,  
Чтоб Речь спасти от лающей облавы:  
Полон — страшнее раны ножевой.

Не пуля гнёт народ, не меч булатный, —  
Очнись, Глагол, в державном дележе!..  
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным,  
Как воин, встань на русском рубеже!

01.12.2004

## Совесьть

Отступать назад уже нельзя —  
Ни в словах, ни в мыслях, ни в поступках.  
Если Правду предали «друзья», —  
Совесьть — не согласна на уступки.

Не Россия начала войну,  
Вскрыв нарыв на теле сателлита,  
И не надо ставить ей в вину —  
Правый путь — достойный и открытый.

Жив в груди гуманный Русский Дух!  
Души рвёт трагедия Донбасса...

Повторяю вслух — для тех, кто глух,  
Ангелы — не пушечное мясо!

Жгуча боль сердечного котла,  
Но строка моя — не бездыханна...  
Совесьть — неподкупна и светла,  
Правда — высока и осиянна!

Лишь Победа — остановит кровь.  
И — проступит, как во время оно, —  
Свет и Совесьть, Вера и Любовь —  
На иконах русских и знамёнах...

30-31.03.2022

## Белая трость<sup>1</sup>

Проявляясь над бездной и мраком,  
В невесомой ладье, наяву,  
С белой тростью и белой собакой  
Вещим облаком в небе плыву.  
Не приемлю раздоров и споров —  
Все глаза проглядела до дыр...  
Трость — моя столбовая опора,  
А душа — в Божий мир — поводыр...  
Мор вселенский, потопы и войны,  
Зло и ненависть, зависть, вражда...

...Все ли твари земные достойны  
Лучшей участи — раз — навсегда?  
Возрождаясь из пены и пепла,  
Ни с ума, ни с пути — не сверну, —  
От бессонных прозрений — ослепла,  
Побеждая стихами — войну.  
Исцеленьем — меж светом и тенью, —  
С белой тростью, подобной лучу,  
Вещим облаком, белой сиренью  
Над уставшей землёю лечу...

1-15 июля 2022

## Сон

Покуда длится мой цветущий сон,  
Вселенским Солнцам шлю земной поклон,  
Бесстрашно став поющей ветвью жизни,  
Чтоб сквозь зачатья просветлённый стон  
И колыбельной нежности полон —  
Познать — святую страсть любви к Отчизне.

---

<sup>1</sup>Посох слепых. Автор потерял зрение в мае 2022 года



ЭДУАРД АНАШКИН

Член Союза писателей России  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Горечь и любовь Станислава Куняева

Редко кто из поэтов патриотического направления избежал в своем творчестве внутреннего диалога с одним из самых харизматичных русских поэтов, ставшим для нескольких литературных поколений символом непримиримости к подделкам под русскую литературу. Я говорю о Станиславе Юрьевиче Куняеве. Он — человек-эпоха, сколь высокая и великая в своих лирических прозрениях, столь же горькая в прозрениях публицистических. Совсем недавно, читая присланную мне книгу избранных стихотворений замечательного сибирского поэта Василия Козлова «Гончарный круг», вышедшую в далеком от Москвы Иркутске, я наткнулся на посвящение Станиславу Куняеву:

*Хотел сказать: «Мы целым миром правим, // А вас дожать не стоит ничего...» // Сказал: «И все равно мы вас задавим!..» — // Но испугался слова своего. // И посмотрел глазами спаниеля, // Вокруг зрачков блестела кровь веков... // Мели, Емеля, знать, твоя неделя — // Я выслушаю без обиняков. // Там, на Синае, в огненной пустыне, // Тельца разрушил грозный Моисей, // Но в темных душах он живет поныне, // Рождая бред сомнительных идей. // И никогда наш спор не разрешить, // Продлится он за дьявольским туманом. // Кровавого инстинкта не изжить // Ни подкупом, ни лестью, ни обманом. // Мы ждем врагов на наших рубежах, // Нам есть с кем поделиться вящей славой. // Вам остается ненависть и страх — // И вечный плач, неверный и лукавый.*

Может, и не стоило, говоря о Куняеве, говорить о ком-то еще, слишком уж значима эта творческая величина. Но так уж получилось символично, что почти одновременно с книгой Василия Козлова я стал обладателем пламенной публицистической книги Станислава Куняева «К предательству таинственная страсть...». Тысячи километров между Москвой и Иркутском, а так символически сложилось, что оба автора говорят об этой вечной интеллигентской склонности к предательству! Настолько вечной, что уже, говоря интеллигент, мы подразумеваем — либерал и, как следствие — предатель.

Василий Козлов посвятил интеллигенции несколько стихотворений в своей книге, несколько строк из одного стихотворения я бы хотел процитировать:

*Предпочитая чуждые народы // И мудро презирая свой народ, // На перекрестке зоны и свободы // Поет интеллигенция, поет...*

Как говорится, пой, ласточка, пой, мир дышит весной. А весна — это оттепель, а оттепель — это, по сути, грязь. Не зря один из царей говорил: «Россию надо подморозить!»... Станислав Юрьевич Куняев посвятил продажности интеллигенции

горькие главы-эссе своей литературоведческой публицистической книги, осмысливая путь падения творчества в бездну сиюминутной материальной выгоды. А по сути, продажи творческого первородства на сытную чечевичную похлебку. Эта книга нужна вовсе не тем, о ком и на примере чьего жизненного пути она написана. Им, как говорится, уже не помочь. Она написана для будущего, это книга-предостережение молодым небесталанным авторам о том, что будет, если творческое первородство ставить ниже чечевицы.

В наши дни военной спецоперации либеральная интеллигенция проявила себя во всей красе, кинувшись спасать от русской угрозы столь обожаемую Европу, частью которой якобы является бывшая советская республика Украина. Посмотришь и вспомнишь классика: «чем либеральней, тем они пошлей». То бьются в истерику, что им стыдно быть русскими, хотя приглядеться, так по национальности, за редким исключением, ни разу не русские. То призывают за мир, а на деле за замалчиваемую трагедию фашистского расчеловечивания русских людей, виноватых лишь в том, что они живут на Украине.

Вечная оглядка на заморскую «княгиню Марью Алексевну», не понятная русскому поэту, пишущему для своего народа, привела в итоге к творческому краху не одного западно ориентированного литературного поколения. Читая книгу «К предательству таинственная страсть...» и все более укрепляешься во мнении: она написана как бы на вырост нам, читателям. К грустью порой думаю, что ведь эта книга, только фамилии будут в ней меняться, останется надолго актуальной для литературы России. Не секрет, что последние десятилетия у нас волеизъявлением пост-советской власти всячески стараются вытравить из литературы всякий намек на социальность. Во главу угла поставлено личное, некое «самовыражение автора». То есть сводится общественное до частного в то время, как главная задача русской литературы, еще со времен бессмертной классики, была прямо противоположная. Наши классики учили читателя видеть в частном — общественное, видеть в трагедии «маленького человека» трагедию огромного количества людей. Вспоминаются слова классика аварской литературы Гамзата Цадаси, сказавшего сыну, будущему известному аварскому поэту Расулу Гамзатову, на тот момент еще начинающему автору: «Если ты поэт, то ты должен чувствовать и видеть так, как чувствует и видит твой народ». Народность литературы. Забытое ныне словосочетание! А ведь от него еще во времена, когда это о народности не говорил лишь немой, были безнадежно далеки персонажи книги Станислава Куняева, чьи имена прекрасно нам известны — Окуджава, Вознесенский, Евтушенко, Галич и прочие «дети Арбата».

Вроде и немало книг по истории литературы XX века я прочитал, но признаюсь, что многие факты о жизни и творчестве этих писателей, изложенные в книге, потрясают своим цинизмом. И совсем иначе начинаешь смотреть на тех, кто считал себя шестидесятниками и «дворянами Арбатского двора». Понимаешь, но за пределами московского садового кольца эти люди, позиционировавшие себя русскими писателями, не видели и не желали видеть.

Книга пронизана не только обличительной горечью, но и грустным осознанием того, как порой разводит по враждебным лагерям вчерашних коллег и даже приятелей разное отношение к России. Вроде бы очевидно, что однажды пишущий человек непременно понимает, что литература сама по себе, оторванная от духа народного и от любви к народу, становится пустым словоблудием, которое не спасут никакие красивые слова, модные ритмы, оригинальные рифмы.

Советское время, о котором сейчас все мы так или иначе ностальгируем, и писатели не исключение, конечно, было временем расцвета любви народа к литературе. Тиражи книг исчислялись сотнями тысяч, писатели были властителями дум миллионов сограждан, книги были в дефиците, поэтические сборники расхватывались с полок книжных магазинов в считанные часы... Но не будем забывать, что литература была не только инструментом осмысления жизни, но и частью официальной советской идеологии. То есть были запретные темы, которые советским литератором было поднимать в своем творчестве нежелательно. Скажешь правду о нищете русской деревне — вмиг тебе припишут очернительство со всеми вытекающими... Тем не менее русские поэты, призывая на помощь весь свой художественный дар и эзопов язык, все равно старались донести до читателя правду. Прорывались сквозь запреты цензуры пронзительными строчками и стихами... а в это время либеральные писатели, дети XX съезда и прочих оттепелей, всеми силами налаживали, как умели (об этом есть немало горьких страниц в книге) связи с боготворимым ими Западом. За редким исключением ориентированные на «общемировую культуру» жили по столицам, то писали оды Ленину, то ехали на поэтические фестивали за границу, где, ясное дело, оды Ленину предпочитали не читать. И словно бы параллельно, своей жизнью, жизнью народа, для которого творили, жили по провинциям Николай Рубцов и Василий Белов, Валентин Распутин и Евгений Носов, Виктор Астафьев и Николай Палькин... Словно некая высшая сила не пускала их в столицу, где собирали шумные толпы в Политехническом музее и на стадионах их столичные коллеги, частые гости на телевидении и на радио. И так эти две ветви литературы — русская по духу и русскоязычная подделка — жили параллельно друг другу, практически не пересекаясь.

Феномен Станислава Куняева заслуживает отдельного внимания. Волею судьбы и силой характера парнишка из калужской провинции жил географически рядом с избранной кастой шестидесятников. Был уважаем ими, хотя порой и ненавидим. При этом остался собой, не изменив русской глубинке и написав именно о ней лучшие свои стихотворения. А лучшие его стихи были все о ней, о России:

*Непонятно, как можно покинуть //Эту землю и эту страну, //Душу вывернуть, память отринуть, //И любовь позабыть, и войну. //Нет, не то чтобы я образцовый //Гражданин или там патриот — //Просто призрачный сад на Садовой, //Бор сосновый да сумрак лиловый, //Темный берег да шрам пустяковый — //Это все лишь со мною уйдёт. //Все, что было отмечено сердцем, //Ни за что не подвластно уму. //Кто-то скажет: «А Курбский? А Герцен?» — //Все едино я вас не пойму. //Я люблю эту кровную участь, //От которой сжимается грудь. //Даже здесь бессловесностью мучусь, //А не то чтобы там где-нибудь. //Синий холод осеннего неба //столько раз растворялся в крови, //Не оставил в ней места для гнева — //Лишь для горечи и для любви.*

Вот этой, процитируем стихи, горечью и любовью, а вовсе не гневом, продиктована книга «К предательству таинственная страсть...». Любовью к родному русскому простору и горечью от того, что не все твои коллеги, хотя именуется русскими писателями, разделяют эту любовь. Географически Станислав Куняев был столичный писатель. Но духовно и душевно он как был в юности, так и остался певцом и печальником русской глубинки, за что ему периодически приходилось выдерживать дружный натиск либеральных столичных писателей. Сильный характер и корневой русской талант помогали Станиславу Юрьевичу успешно воевать за русское слово и русский дух на московской территории. В одной из

книг он написал о том, что идеологические оппоненты дивовались его мужеству и стойкости, ведь противостоять очередному дружному либеральному наскоку ему приходилось порой практически в одиночку. А разгадка непобедимости Куняева, лежавшая на поверхности, была им, с их отношением к России, неведома. Когда ему становилось невмоготу от столичной жизни, он уезжал в свою родную Калугу и там, на малой родине, набирался от родной земли сил для будущих литературных баталий. Пока ещё были живы его друзья-соратники Вадим Кожин, Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов, думаю, Станислав Куняев не столь ощущал свою одинокость в среде, где ему выпало жить и работать. Однако и с уходом из жизни единомышленников Станислав Юрьевич не утратил боевого духа, который одинаково блистательно проявлялся и в его стихотворениях, и в его публицистике, и в его подвижнической работе главного редактора лучшего литературного журнала России «Наш современник», верного пушкинским заветам.

Книга «К предательству таинственная страсть» уникальна тем, что ее автор, несмотря на то, что он выдающийся поэт, а поэты, как известно, люди эмоциональные, в этой книге предстает бесстрастным и бесстрашным осмыслителем эпохи. Неуклонное стремление быть объективным по отношению к тем, о ком написана книга, сильно выделяет ее из череды множества документально-публицистической мемуаристики. Такая, как правило, отмечена печатью вкусовщины и имеет привкус сведения счетов. Куняев стремится быть предельно холоден и объективен — вне зависимости от того, симпатичен ли ему лично человек, о котором идет речь, или симпатии своими какими-то поступками не вызывает.

Думаю, для многих, кто и сегодня нет-нет да и ностальгически взгрустнет по временам «шестидесятников», такая книга станет откровением. Заставит на многое посмотреть иначе, переосмыслить свои взгляды. А без такого переосмысления не будет у России, у нас не будет будущего. Если мы будем считать предательство и презрение к Родине нормой, какое может быть будущее? Пока мы вполне себе спокойно относимся ко всем этим «детям Арбата», «детям оттепели», насельникам «Дома на Набережной», «детям XX партсъезда», мы пребываем в иллюзии, что это русские, а вовсе не русскоязычные, писатели. Забываем о том, что их главным желанием была вовсе не любовь народная, а любовь узкой прослойки таких же «богоизбранных» и желание стать гражданами мира. На какие только ухищрения они во имя этого ни шли — почитайте в этой книге, вас ждут не очень приятные, но нужные открытия. Когда уж тут о народе русском было им думать? Для того «мужичье» Рубцов да Распутин, и прочие им подобные есть...

Об объективности этой книги, стремлении максимально понять такое явление, как шестидесятничество и его корни, наиболее показательны говорят эссе о Борисе Слуцком, об Игоре Шкляревском — писателях, к которым Станислав Куняев не скрывает своей приязни, потому что с этими людьми его связывали годы если не дружбы, то дружества.

Совершенно согласен со Станиславом Юрьевичем, что «литература в России — это вторая религия». «Пушкин — наше все». Именно Пушкин, хотя Россия щедра на гениев в самых разных сферах человеческой деятельности. Но именно Пушкин стал наиболее полным выражением народного духа. А ведь это даже в бытовом уровне отражается. Наверняка каждый из вас слышал в детстве от родителей: «А кто за тебя уроки делать будет? Пушкин что ли?». А уж коли литература — вторая религия, то значение книги переоценить нельзя. Скажу крамольную вещь, которую бы не должен говорить человек верующий. Но литература, может быть, не

вторая, а первая религия в России, потому что религий в России немало, а литература одна, хоть и многонациональная. А предательство начинается со слова. Потому надо быть внимательным к словам, они — предтечи поступков.

Литературное поле России — вечное поле битвы за чистоту души, языка, помыслов. И на этом поле битвы нужны опознавательные знаки «свое-чужое», чтобы не принимать чужое за родное, а врага за соратника. Порой цитируем слова, что предают только свои, но если предал, не был своим никогда, просто его принимали за своего! В посвящении на книге Станислав Юрьевич написал мне, что она создавалась в течение всей его жизни. И действительно: в книге собран огромный документальный материал, который, быть может, и не осилить в полной мере с первого прочтения. Книгу «К предательству таинственная страсть...» надо не просто читать и не просто перечитывать. Она заслуживает того, чтобы стать настольной. Она поможет избежать многих искушений на литературном пути, сохранить верность себе и русской литературе. Поможет в выборе единомышленников, в умении видеть «чужих» по их словам и поступкам.

Бог судил Станиславу Юрьевичу Куняеву жизнь насыщенную — полную сражений на литературных полях и полях истории, высекавшую из его души поэта гениальные стихи, которые мы с вами часто цитируем и которые поддерживают наш дух в непростое время. Книга «К предательству таинственная страсть...» — гражданский поступок поэта, если учитывать сильно превосходящие силы либерального противника. На такое мужество способен не каждый поэт, если только он — не Станислав Куняев!

Осенью у Станислава Юрьевича юбилей. Здоровья Вам, учитель, и всего самого доброго!

## Поклонная любовь Елены Чубенко

Недавно в столице Забайкальского края городе Чите, на моей малой родине, завершился 9-й международный Забайкальский кинофестиваль. В нём приняли участие такие страны как Индия, Израиль, Монголия, Канада и другие. Радостной новостью стала та, что в конкурсе сценариев короткометражных фильмов первое место было присуждено прозаику земли читинской председателю Забайкальской писательской организации Елене Чубенко. Фаворитом кинофестиваля стал ее сценарий «Случай в Забайкалье» о жизни воспитанников одного из детских домов. И этим сценарием заинтересовалась лауреат Государственной премии, режиссер из Санкт-Петербурга Лидия Алексеевна Боброва, тоже уроженка Забайкалья, со станции Могоча. И планирует снять фильм по этому сценарию...

Елену Чубенко можно назвать не только маститым именитым писателем. Куда важнее, что это писатель корневой русской прозы, ведь пишет о том, что не просто знает, но кровной частью чего является, кровинкой родного Забайкалья. Ныне Чубенко — член Союза писателей России, имеющая большой жизненный опыт многолетней работы в правоохранительной и судебной системах. Навидалась судеб непростых, разбиралась, как правоохранитель, в их хитросплетениях, стала глубоким знатоком человеческой психологии. Все это не могло не отразиться в творчестве. Ныне Елена Чубенко — автор нескольких сборников прозы, которую тематически можно отнести к деревенской. Но не устану повторять, что тематика — вовсе не главное в прозе, ведь в литературе важно вовсе не то, о чем написано произведение. Важно — КАК оно написано. А проза Елены Чубенко гармонично продолжает заветы русской классической прозы, что через непростой для России XX век пронесены русскими нашими прозаиками, также занесенными лукавым литературоведением в некую «деревенскую резервацию» — уж больно талантливы и самобытны. Все мы знаем эти славные имена печальников и утешителей души русской — Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Шукшин, Евгений Носов... Цвет русской классической прозы XX века, прямой продолжательницы славных предшественников из века девятнадцатого.

Елена Чубенко — лауреат Национальной литературной премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Проза» (2017 г.). Лауреат премии губернатора Забайкальского края в области литературы за 2019 год. Финалист Всероссийской премии «Дальний Восток» им. Арсеньева 2020 года. Успешно работает, как я уже упомянул, и на драматургической ниве, будучи автором пьес для народного театра «Вот так и живем», «Солнцем поцелованные», «Унеси мои грехи». Является соавтором сценария художественного фильма «Солнцем поцелованные», который снял режиссер Н. Гадомский.

Вот что пишет в предисловии к новому сборнику прозы Елены Чубенко «Унеси мои грехи» известный писатель, лауреат Национальной литературной премии им. Валентина Распутина Анатолий Байбородин: «... Среди героев нынешней книги Елены Чубенко изрядно сельских стариков и старух, запечатленных с любовным знанием их печалей и радостей. И сей поклонной любовью рассказы созвучны прозе Валентина Распутина о деревенских старухах... Книга Елены Чубенко правдива в прямом смысле, ибо герои — хорошо знакомые прозаику сельские жители, и события не вымышлены, а доподлинно известные ей случаи сельской жизни. Воспевающая высокие нравственные, духовные начала в душах героев,

проза Елены Чубенко откровенно учительна, назидательна, что является истинным назначением искусства...».

Читаешь Елену Чубенко и улетаешь душой и мыслями в неповторимый колорит Забайкальского края, с его самоцветным языком, с неподражаемым характером сибиряков и их неистребимой ничем даже через года и десятилетия верой в силу родной земли. Верой, что та же река Ингода волшебным образом способна, несмотря на время и расстояние, смыть, унести и словно бы отпустить былые прегрешения молодости... Эта вера дала жизнь повести «Унеси мои грехи». А повесть, в свою очередь, дала название новой книге. Спасибо Благотворительному фонду «Одарина» в лице его председателя Владимира Кибирева и председателя Попечительского совета Виктора Шкулева за то, что на радость читателям помогают талантливым писателям-землякам...

И снова не удержусь, подкрепив свои размышления о самобытной прозе Чубенко словами Анатолия Байбородина: «...Случалось, иные народные выходцы столь далеко от народа убредали в мир творческой богемы, что и забывали, как пахнут пропотевшие крестьянские рубища. Прозаик Елена Чубенко не вышла из народа, а, явившись на белый свет и взросши в крестьянском мире, в народе и осталась — и светлой русской душой и народным словом. Да и живет в забайкальском селе Улёты...»...

...В основе повести «Унеси мои грехи» лежит не только богатый авторский художественный вымысел. В основе — подлинные истории непростой жизни реальных семей. Подлинность, от которой читателя старательно отучают много издаваемыми писаниями в стиле фэнтези. Мы живем в век фантазий, которыми нас щедро потчуют не только политики, но и писатели! Но со страниц книги Чубенко жизнь встает во всей своей первозданности. Поначалу ты изумляешься, но незаметно для себя самого, по мере углубления в книгу, начинаешь жить жизнью героев, словно это написано и о тебе самом, о твоих близких людях. В повести «Унеси мои грехи» с отрадой возвращаешься в то светлое советское время, которому уже недолго осталось. С отрадой вместе с молодым специалистом-медиком Светкой едешь работать в деревеньку, куда, как говорится, «Макар телят не гонял». А деревенька в прямом смысле слова Замакариха, так и называется! Но упаси тебя Бог подумать о Замакарихе, как о Богом забытой деревушке, ведь в такой вот глубинке и живет народ, что Богу всего более угоден.

Живые, каждый на особицу, люди смотрят на нас со страниц книги. Каждый не безгрешен, но ностальгически узнаешь приметы спокойного размеренного сельского быта времен СССР. С точки зрения сегодняшнего горожанина, быть может, не всегда комфортного для тела, но такого благодатного для души. То было время, когда человек человеку был друг, товарищ и брат, когда главным было не внешнее, когда не было надобности побеждать ближнего в борьбе за материальные выгоды, за место под солнцем, потому что солнце на всех одно. И ты вместе с молодой медичкой Светкой расслабленно душевно вдыхаешь облако степной пыли от наматываемой на колеса дороги. Подспудно озарит тебя мысль, словно исподволь подсказанная автором, что дорога эта пыльная на самом деле сказочная волшебная нить, что мотается на клубочек судьбы. По этой нити в русских сказках герои всегда приходили к правильной цели. А водитель автобуса, посверкивающий столь модным тогда золотым зубом, не просто Васька-баламут, охочий высматривать в салоне автобуса красивых девушек. Васька во время работы-пути похож на святого с нимбом, потому что шевелюра его волос, покрытая облачком

вездесущей пыли, взлетая на каждом ухабе и колдобине дороги, при свете солнышка рисует хорошо заметный нимб над его шоферской головой. Как это красиво и «вкусно» написано!

Исконные жительницы Замакарихи бабка Арина и бабка Катерина тоже носят на себе отсвет русской старины. Словно некие ведуньи не просто встречают приезжую Светку, как родную, в формате «ты меня накорми, в бане выпари, а потом уже вопросы задавай». Но и каждая по-своему рада сагитировать молодую специалистку замуж именно за своего внука, сельского Ивана-царевича. Житье в деревне самое спокойное — двери тут сроду не запираются на ключ-засов, потому как воров в деревне просто нет. Как говорит тетка Арина, зазывая Светку на обед: «Не закрывай. Никто тут не шкодит. Моды такой нету». И ты в очередной раз вздыхаешь, эх, какую страну мы потеряли! А ведь тогда и в городах-то люди закрывали дверь скорее для приличия, а ключ от квартиры клали под коврик...

Тем не менее приметы приближающегося неблагополучия есть уже и в этой, почти идиллической, жизни. Молодежь в селе не задерживается. Оставшиеся в Замакарихе внуки тетки Арины и Катерины поневоле по этой причине, что говорится, засиделись в женихах. Появление молодой Светки, потенциальной невесты, стало быть, весьма значимое событие. А ведь тем и уникальна сельская глубинка, что встреча с человеком, особенно новым, в ней является очень значимым событием. В городской сутолоке, где человека подменяет толпа, такого быть просто не может. Замакариха словно заблудилась в советской эпохе, да так там и осталась, зато каждый человек на виду. Не спрячешься в толпе, все все про всех знают. А если и конфликтуют порой, то вовсе не по причине дележки земных благ, а в силу равнодушия к судьбе ближнего. Хорошая судьба привела в этот душевный край к неугомонным и равнодушным людям молодого специалиста Светку, разочаровавшуюся не просто в своей первой городской любви, но, судя по всему, и в тех отношениях, что предлагает город.

Светка, увы, не типичная представительница своего поколения, которое, став молодыми специалистами после институтов и техникумов, не стремились возвращаться на малую родину, предпочитая стать горожанами. Но с годами их неуклонно тянуло к истокам. Молодость, познающая себя в мире, сменялась зрелостью, что открывает мир в себе. Или эта прогрессирующая тяга к истокам на поверку есть попытка некоей работы над ошибками молодости?..

Живет-поживает Замакариха своей обычной жизнью, скучать некогда, к тому же появление нового человека в лице Светки и вносит некую живинку. Конечно, деревне нужен медик. Но, видимо, чистая совесть и спокойная душа, отсутствие суеты и недобрых помыслов помогает сельчанам и в зрелом возрасте сохранять здоровье. Поэтому молодой медичке сельчане рады не только в плане медпомощи, но как новому человеку, которым приросла деревня. Первые же дни работы приносят Светке много неожиданных ситуаций. То два молодых внука двух разных соседей пытаются конкурировать меж собой за внимание Светки, представляясь больными. То ревнивая жена, что никак не может стать мамой, пытается устроить Светке сцену ревности, быстро пресекаемую стоящими за Светку горой бабульками-соседками. Забегая вперед, скажу, что именно Светка, которую ревнивица пыталась обвинить в домогательствах к ее мужу под видом оказания медицинской помощи, станет добрым вестником, что скоро у этой пары будет прибавление в семье... До чего же были светлые и добрые конфликты! Даже разговоры сельчан о том, что и в городе с работой становится неладно, потому что многие заводы на

ладан дышат, как-то быстро сходят на нет, побеждаемые светлой инерцией спокойного житья.

Но вклиниваются в это спокойствие отголоски гражданской войны... Приходит в Замакариху старик, в котором дотошные бабки узнают, несмотря на десятки прожитых лет, раскулачивателя Воронка. Что самое удивительное, первой его узнает внезапно исцелившаяся накануне бабулька, которую односельчане считали беспросветно глухой и неходячей. А тут накануне она вдруг исцелилась, словно чувствовала, что — надо! Неспокойная совесть привела Воронка в родную деревню... Так значит, есть она у него, эта совесть! Первоначальное резкое неприятие бывших односельчан, родители которых в свое время были репрессированы и бесследно сгинули в лагерях по причине революционной активности Воронка, сменяется пониманием, что повинную голову меч не сечет. Жалость берет свое в сердце сострадательного русского человека, к тому же и Светка, как медик, предупреждает гневных сельчан о больном сердце пришлого Воронка... Ведь и пришел он на малую свою родину, где столько печали принес односельчанам, чтобы отпустила она, малая родина и родная река Ингода, грехи его тяжкие... И, видимо, все-таки отпустила, раз дала в награду встречу с внучкой от погубленной жены, встречу, которой и не чаял кающийся грешник...

...Елена Чубенко не просто интересный рассказчик. Она великолепный собеседник, тактично побуждающий нас задуматься о вещах, о которых мы в суете редко вспоминаем. Доверяя нам судьбы своих героев, она словно бы открывает какие-то черты характера этих героев в нас самих. Отсюда проистекает глубокий психологизм прозы Чубенко, отсюда берет исток светлая целительность ее прозы. Такое безоглядное доверие читателю в наш прагматичный век стало точечным в литературе. Но именно эта исповедальность и есть главное... Читательский город уже по самому своему названию, город Чита дал в свое время творческую путевку в жизнь великому прозаику Валентину Распутину. Он, будучи совсем молодым, стал открытием знаменитого Читинского семинара молодых писателей, чтобы в будущем укрепить исконные основы покаянной исповедальности русской прозы. Те основы, которые сегодня развивает в своем творчестве читинский прозаик Елена Чубенко.

# АЛЁНА ШИПИЦЫНА

Поэт, прозаик

## Звучащая живопись

Байкал в поэзии Владимира Скифа

Кто-то однажды сказал, что скульптура — это музыка, застывшая в камне. Позволю себе продолжить эту мысль, на мой взгляд, поэзия, в одной из своих характеристик — это звучащая живопись. Как мастерски наносит живописец штрих за штрихом, мазок за мазком, так поэт нанизывает звуки, слова, смыслы и, при умелом воплощении замыслов, читатель имеет возможность созерцать столь же зримые образы, пейзажи, стихию. Сегодня, отринув нелёгкие думы и сомнения, которыми охвачен весь мир, на время оставив будничную суету, обретём уединение в благолепных уголках поэзии, пришедшей к нам со страниц книг известного русского поэта Владимира Скифа.

Позвольте мне пригласить вас в мастерскую этого виртуоза зримого русского слова, чьи поэтические намерения сколь глубоки и непостижимы, столь же родственны и милы русскому сердцу. Мы лишь попытаемся вслед за автором спуститься по склону горы, коснуться кристальной байкальской воды в момент прилива, или услышать крики чаек. И прислушаемся, чем отзываются в нас его строки, какие струны души одиноко дрогнут или прольются неповторимой мелодией, сигнализируя Вселенной о том, что единение произошло. Как не войти в одну реку дважды, так и не подойти к одному Байкалу, не взглянуть дважды в голубые глаза небес над священным озером. Здесь каждая составляющая переменна:

*Тишина. Вдруг старый тополь  
Зазвенел, как истукан.  
А потом завыл, затопал  
И захлопал ураган.*

*Я подобного не слышал,  
Чтоб так мощно, как в орган,  
Бил по клавишам домашек  
Бесноватый ураган.*

*Чтобы шли ордою волны  
И скакали между скал,  
Чтобы так верёвки молний  
Обвязали весь Байкал...*

И пока мы замерли, оцепенев, в предошущении стихии — шутка ли, когда громада грозит штормами и громами? Тихо, тихо, на цыпочках к нашему воображению подбиралось бабье лето. И вот уже покой и тишина...

*Небо, словно из сатина.  
Гром на небе не грозит.  
Золотая паутина  
Вместо дождика скользит.*

И далее — автор вместо кисти берёт в руки солнечный луч и начинает им водить по холсту:

*Ёжик солнечный игольчат,  
По земле лучом провёл —  
И осенний колокольчик  
Во дворе моём расцвёл.*

Любопытный читатель выглядывает из дверей уютной дачи или отеля, или, возможно, он из окна автомобиля увидел этот звонкий, почти хрустальный осенний колокольчик. Что произошло в его душе? Он улыбнулся! Он вспомнил юность, первое свидание или, напротив — позднюю любовь, нежданную, словно этот весенний цветок. И вот уже:

*Утро косы небу заплетает,  
Заплетает тропки у реки.  
Серый день кукушкой пролетает  
И садится поперёк тоски.*

Смена сезонов, как смена настроения, почти осязаема. Но сейчас я предлагаю рассмотреть цветовую гамму, которую являет автор. Что мы увидим, нежную палитру рассветов и закатов? А, может быть, только чистые цвета без лишних вольностей? Или мастер возьмёт на себя смелость и смешает краски настолько, что наш глаз, наш слух перестанет различать оттенки и границы живописи, границы словесного искусства растворятся, воссоединяясь с музыкой:

*Вечернее небо сквозит надо мной,  
Сияет закатною раной,  
А утром затянется голубизной,  
Затмится листвою багряной.*

Казалось бы, то, что нельзя совместить — сквозная рана и свежая совершенная голубизна утра, вдруг являются вполне закономерными элементами, характеризующими природу Саян.

— Что же это такое? — Возможно, возмутитесь вы, — мы говорим о Байкале! — Совершенно верно. И логика нашей беседы ничуть не нарушается, если мы упоминаем Саяны, Бурятию, Аршан. Если мы вспомним многочисленные реки и озёра Прибайкалья, назовём города Иркутской области и даже Забайкальского края, нить повествования не оборвётся и не запутается. Потому что, говоря о Байкале в контексте географии, биологии, лимнологии и других наук, мы говорим о глобальном явлении, где пространственные и временные отрезки велики. Где богатейшая флора и фауна. Где соседствует невероятное количество культур и традиций. А, говоря о Байкале, представляя его в качестве поэтического объекта, мы практически не ограничены никакими рамками.

«Звенели малахитовые травы...», «Незабудок весёлые лица и черёмухи белой фата...», «Саранки красной завиточки...», «Поляны розовым и белым тысячелистником полны» — впечатляет?

А вот это:

*Горит Байкал серебряный, хрустальный,  
Лазурный, перламутровый, зелёный,  
Свинцовый, сизый, дымчатый, туманный,  
Чешуйчатый, глубинный, золотой!*

Хочется воскликнуть: «Ах!» Но мы ещё так много должны увидеть. «Цыплёнок жёлтый», «оранжевый луч», «багряные ягоды», «лиловый свет», «золотая среда». Но ещё более вовлекает в процесс сопереживания, сотворчества, совместного созерцания приём, когда поэт не называет конкретных цветов, а использует максимально точные, объёмные эпитеты:

*...Шумело войско острых листьев  
И поднимались копыта трав...*

Или:

*С угрюмой северной горы,  
Хотя восток был светел,  
На левый берег Ангары  
Катился хваткий ветер...*

Достаточно ли ёмко для того, чтобы стихия завладела нашим восприятием? По-моему, более чем. А есть ли у мастера собеседник, друг, спутник, или он нераздельно владеет впечатлениями, ведёт беседы сам с собой, и с каждым из нас готов делиться только завершённым произведением искусства?

*Байкал, ты помнишь друга, брата?  
Он шёл к тебе в мороз, в пургу...  
В осенних листьях, будто в латах,  
Сидел на диком берегу.*

*А ты глядел в него, качался,  
Шальные ветры торопя.  
Вздыхал волну и удивлялся,  
Неужто он — сильнее тебя?*

Читая эти строки, я чувствую смутение — как такое возможно?.. кто этот человек, которого автор сравнивает с самим Байкалом?.. в чём его могущество и величие? Уверена, кто-то из читателей сразу узнал посвящение В.Г. Распутину. И теперь у нас не осталось никаких сомнений в данном сравнении. Ведь великое слово, изречённое незабвенным сибирским писателем, по силе превосходит даже стихию. Автор говорит с людьми знакомыми и незнакомыми, с коллегами-поэтами, с художниками, с артистами и не только.

Звучат такие имена, как Валерий Зиновьев, Владислав Панкин, Леонид Бородин, Александр Семёнов и многие другие. Идём дальше и слышим ещё одно обращение:

*Откуда твой опыт? Из детства?  
Из песен в родимом краю?  
Наверно, Господь пригляделся  
И высветил душу твою.*

*Ума вековое наследство  
Ты принял и тайну постиг.  
С Эвтерною жил по соседству  
В сибирском селе Кутулик.*

Обращение на «ты» позволяет нам думать, что Владимир Петрович говорит с ближним, с тем, кого считает и почитает как «несравненного» драматурга. Конечно, мы знаем, чьё беспечное детство прошло в Кутуликe и чей талант писателя, драматурга прославил родной посёлок на весь мир. Остановимся, прислушаемся? Что ещё нам поведаёт поэт о том времени? О той пережитой горечи потери?

*И Оля скажет, и мама скажет:  
— Куда ты, Саша? Не надо, Саша!  
Деревья — в сажe, и губы — в сажe.  
Не стало Саши... Не стало Саши!*

Голос поэта — крик души. Стенания, осознание страшной утраты. Чередование свистящих и шипящих звуков возносит и рассеивает страдание, сливаясь с криками чаек, с завыванием леденящих байкальских ветров над вечным озером, над озером страшным и непобедимым. Звуки здесь заменяют краски, но им дана такая сила, что мы не можем не представлять всё это серое, безнадежное, накрывающее ноющей болью и рассыпающееся прахом. «Век оступился», — молвит поэт. Пауза. Хочется выдохнуть, опуститься на землю, наслаждаться горьковато-пряными ароматами диких трав. Хочется впитать в себя энергию камня, неба, воды и встать обновлённым, с новым слухом, с новым зрением, чтобы вновь созерцать, удивляться, сопереживать и любить этот край, эту поэзию, эту жизнь. И вот она — жизнь:

*Гонит тучи порывистый ветер,  
На рыбалку спешат мужики.  
Там твои колокольчики светят  
И глаза обжигают жарки.*

Кто те отчаянные смельчаки, что идут рыбачить на беспокойное озеро? Ведь оно именно такое при порывистом ветре? Сомнительно? А нет никаких сомнений — туристы, компания приятелей навеселе спешат блеснуть сноровкой. Что им тучи! Что им непогода?! Русскому человеку в хорошем настроении любое море по колено. Но, взгляните на этот любопытный образ — «колокольчики светят». По-хорошему простой и, одновременно, глубокий. Байкальские колокольчики — белые, фиолетовые, голубые и сиреневые или, скажем аквилегии-водосборы всевозможных оттенков, где белый переходит в нежно-розовый, черничный или даже бордовый. И вот это место перехода из одного цвета в другой представляет некую воздушность, будто цветок не крепится к стебельку, а волшебным образом парит в воздухе. И какой удивительный контраст создаёт это непридуманное природное сочетание колокольчиков и жарков. Возникает вполне объяснимое желание — убежать на поляну, где для полноты картины ярко-жёлтым вспыхнут лилии, именуемые в народе граммофонами или огурчиками, заалеют саранки.

*Саранки красной завиточки,  
Как запятые в той строке,  
Что не дописана до точки:  
Оборвалась на завитке.*

*В печать поэт готовил гранки,  
И вдруг в укромный кабинет  
Из леса принесли саранки —  
Природой созданный сонет.*

И здесь маэстро изящно сравнивает цветок — творение природы с поэтическим произведением уникальной формы. Автор работает с нашим воображением, нагружая его дополнительными действиями. Мы не только наблюдатели, не только любимся и наполняемся впечатлениями, перед нами стоит задача куда сложнее — запечатлеть, принять, оценить, согласиться или опровергнуть.

В данном случае завораживает не только услышанное и увиденное, но и внутренняя субъективная огранка увиденного. От слова «саранка», от звукосочетания мы движемся к форме, строению, окрасу, вовлекаемся в процессы, происходящие вокруг, выстраиваем алгоритмы взаимодействия: цветок — поэт; поэт — читатель; читатель — цветок...

И ещё множество всевозможных связей. Огромный цикл посвящён растениям Прибайкалья. Я не знаю другого такого поэта, который так много и так подробно пишет о ягодах, цветах и травах Сибири:

*Костяника, ты ягода детства.  
Вспоминаю густой травостой,  
Где царит с ручейком по соседству  
Костяники дремучий настой.*

Поскольку моё детство прошло в сибирской глубинке, мне вспоминаются не только драгоценные россыпи спелых ягод цвета рубина и граната, но и сочная сладость с лёгкой кислинкой. А какое вкусное варенье из костяники! Только попробуй набрать, хотя бы литровую баночку. Это не земляника или брусника, которые растут полянами.

*Байкала выгнулись края  
И бьются в такт с моей душой.  
Черняев, Черников и я  
Идём в тайгу за черемшью.*

А когда варенье наварено, черемша отошла, лето катится к закату:

*Август полон дождей.  
Для грибов благодать.  
Небо манну небесную крошит.  
Бесконечному сееву дня не видать,  
Там судьбы моей катится грошик.*

*Гром стучит и гремит,  
как состав грузовой,  
Небосвод переполненный движет.  
С неба дождик свисает сырою травой,  
Солнце спряталось в небе, как рыжик.*

Где же тут не разыграться гастрономическим фантазиям? Но ещё раз почти Эвтерпу, вернёмся к поэтическим образам и высказываниям.

*Всё лето лист, зелёный, влажный,  
Берёзе царственной служил.  
Он с восхитительной ромашкой  
Дружил и в осень не спешил.*

*Он из себя любовь исторгнул,  
Он лепетал и трепетал,  
И вдруг от заморозка вздрогнул,  
«Люблю ромашку...» — прошептал.*

Увы, невозможно за одну прогулку познать даже тысячную долю внешнего мира Прибайкалья. Как нельзя постичь всей глубины творчества одного поэта. Верю, что наша встреча прошла с пользой, и каждый из вас получил эстетическое удовольствие. Предлагаю на прощание ещё раз окинуть взором природное величие наших мест, ещё раз открыть своё сердце для звонких, пронзительных или печально-откровенных поэтических строк, созданных Большим Русским поэтом Владимиром Скифом:

*Горят жарки — сибирские цветы,  
Которые с тобой мы собирали,  
Горят от Красноярска до Читы  
По склонам Транссибирской магистрали.*

*Июньским зноем рельсы налиты,  
Они пронзают каменные дали.  
Байкал, всей мощью звуконосной стали  
Со всей страной соединился ты.*



## ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО



«Вот оно, Господи, позднее время моё...»

### Тамань

Отложи карандаш и сознание своё не тумань!  
Жизнь и так не длинна. Но куда она ещё длится —  
различаешь — опять: где-то около сердца Тамань,  
как тяжёлая рыба в придонной крови шевелится.

А придонная кровь — это вовсе не квас, и не чай —  
у неё накопились привычки к серьёзным нагрузкам.  
Значит, снова пора археологу крикнуть: «Встречай!»  
И поехать к нему, просочась через горлышко узко.

---

БЕЛИЧЕНКО Юрий Николаевич (1939–2002) родился в с. Манев Черкасской обл. в семье агронома, вырос на Кубани. Окончил Харьковский политехнический институт (1962), заочно Литературный институт им. Горького (1971), экстерном Донецкое высшее военно-политическое училище (1973). Был членом КПСС (с 1965). Служил офицером в Советской Армии (с 1962). Работал в газете «Красная звезда»: спецкор (с 1993). Печатался как поэт с 1962: газета «Калининградская правда». Автор поэтических сборников: «Звенья» (1969), «А рядом ходит — человек» (1971), «Виток времени» (1974), «Время ясеня» (1978), «На гончарном круге» (1986), «Польнь зацвела» (1986), «Зов чести» (1989), «Усталая Россия» (1997), «Лёта Лермонтова» (2001), «Арба» (2002), «Прощёное воскресенье» (2003), «Как первая любовь — ракетные войска!» (2004), «Пишу, чтобы жить» (2006), «Стихотворения» (в сб. «На границе тысячелетий» — 2011), «Час исповедальный» (2017). Награждён серебряной медалью имени А.А. Фадеева, премиями журналов «Огонёк» и «Москва», премией имени М.Ю. Лермонтова. Член Союза писателей России. Жил в Москве.

Он имеет привычку портвейном споласкивать рот,  
говорить торопливо и жить в прибрежных кошарах.  
Он потащит в раскоп, где он роет столетья, как крот,  
и покажет следы миновавших людей и пожаров.

Он, наверно, один из оставшихся в жизни людей,  
чья свобода легка, а рука и судьба непродажны.  
Да, я помню, что здесь напрягал паруса Одиссей —  
но пускай говорит! — мне его останавливать страшно.

А потом мы лежим с опрокинутым в небо лицом  
среди хора сверчков и мерцающих крапинок света,  
различая вопрос, задаваемый людям Творцом,  
на который мы оба пока что не знаем ответа.

Приминая полынь, погрузившую корни в века.  
Отыскав звездолёт на светлеющем небе лиловом.  
Хорошо понимая, что здешняя жизнь коротка,  
но она, говорят, иногда продлевается словом.

А на север — Мстислав на касога уводит полки.  
И куда-то на юг проплывают суда из Ростова.  
И степной паучок оплетает слюной черепки,  
погребённые здесь за века до Рожденья Христова.

И на свежих могилах кузнечики звёзды куют.  
И советские звёзды на красных холстах выгорают.  
И колючие травы казачеству славу поют.  
И залётные ветры в проливе рубашки стирают...

\* \* \*

Я помню первый год от сотворенья мира.  
Царапинами пуль помечена стена.  
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...» —  
учительница нам читает у окна.  
Нам трудно постигать абстрактную науку.  
И непривычен хлеб. И непонятен мир.  
И Витька, мой сосед, приподнимает руку,  
и задаёт вопрос: «А что такое сыр?..»  
То было так давно, что сказка современной,  
сквозь годы протекло, растаяло в судьбе.  
Но бабушка и внук однажды в день осенний  
вошли за мной в трамвай, бегущий по Москве.  
Бульварами идти им показалось сыро.  
Ребёночек шалил. И бабушка, шутя,  
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...» —  
прочла, чтобы развлечь игривое дитя.

Я опустил глаза, и память, будто внове,  
пересекла крылом родительский порог...  
А мальчик, перебив её на полуслове,  
потребовал: «Скажи, а что такое Бог?»

\* \* \*

Нас ничему не выучило время.  
И, кофеем проветривая лбы,  
историков кочующее племя  
отеческие мучает гробы.  
Опять у них Россия виновата,  
что всё темна, ленива и пошла —  
а потому и брат восстал на брата,  
и не туда история пошла.  
Решения с подсказанным ответом  
нам не новы. Но это — всё слова,  
Судить — суди. Но не забудь про это:  
она была. И тем уже права.  
Искажены, а где и стёрты лица.  
Резон не тот. И логика не та.  
Но так от крови склеились страницы,  
что не разнять, не разорвав листа.  
И незачем нам сплетнями тиранить  
те жизни, что остались между строк?  
Прозревшим — честь. А не прозревшим — память.  
Прозревшим — боль. А не прозревшим — Бог.

\* \* \*

Накаркали снѣгу вороны. Простуда в любом сквозняке. И листьев в обтрѣпанных кронах — как денег в моём кошельке.	Как стынут на уличных водах мазутная сажа и вонь, и днѣм в городских переходах голодная плачет гармонь.
Пустыми идут электрички, верша свой назначенный круг. И смотришь скорей по привычке на всё, что творится вокруг.	И кажется: это — разлука, и время — совсем на краю. Но чувствую женскую руку, крестьящую спину мою.
Как банки, артели, картели сшибаются в смертном бою. Ведут телесъѣмки в борделе. Убийцы дают интервью.	Неприбыльно время земное, и ноша моя нелегка, но, словно бы крылья за мною — крестьящая эта рука...

\* \* \*

В суете, суматохе и дыме,  
За работой своей дотемна,  
Мы б, наверное, стали другими,  
Не вспаши наше детство война.

Мы спешили, спешили, спешили,  
Но в душе понимали одно:  
Совершить, что они совершили,  
Нам, наверно, не будет дано.

Откровенно признаемся в этом:  
Наши судьбы в масштабах страны  
Освещались естественным светом,  
Отражённым от молний войны.

Отрешимся от праведной блажи,  
Воздавая почёт старикам, —  
Ведь История наши поклажи  
Не фасует по равным тюкам.

Ни вины, ни обиды здесь нету,  
Ни к чему привставать на носки.  
Под горячим светилом Победы  
Наше поле давало ростки.

Мы за спинами их постарели.  
Но, наверное, логика есть,  
Что о тех, кто в огне не горели,  
Нам заботиться выпала честь.

\* \* \*

Что ты заводишь песню военную  
Флейте подобно, милый снигирь?..

*Г. Державин*

С утра морозно. Над домами  
дымы стоят веретеном.  
Снигирь в гусарском доломане  
клюёт рябину за окном.

В снегах, вдали от жизни светской,  
от службы царской ли, советской,  
по чьей-то воле иль вине  
отставлен — я живу, как пленный,  
сменив суровый шарф военный  
на разгильдяйское кашне.

Судьбе и веку благодарный,  
почти не явленный числом,  
осколок рати легендарной,  
зачем-то пущенной на слом,  
я не ищу в себе героя. —  
Я лучше печку растоплю.  
Музыку нежную настрою  
да бабу снежную слеплю.

Да на границе огорода  
для снега выстрою заплот..  
Когда в России нет народа —  
то каждый сам себе народ.  
А куст рябины, чуть оттаяв,  
с ветвей отряхивает лёд...

Снигирь клюёт — как Чаадаев  
своё отечество клюет.

О, сколько их, таких свободных,  
страну клюющих задарма,  
отменно умных, благородных,  
но все же сдвинутых с ума,  
казнимых, каторжных, болящих  
родило в замыслах благих  
свободу блуда — для гулящих,  
свободу слова — для глухих!

Обманы те и те порывы,  
увы, я знаю по себе.  
вот и живу теперь, как рыба  
с крючком на порванной губе.  
Неволи нет и нет желаний  
вменять порядок мировой.  
А день уходит за елани...  
Лети, снигирь, пока живой!

Лети над изморозью пенной,  
калину сладкую ищи.  
Но только больше песнь военну  
на русской флейте не свищи!

\* \* \*

По выходным, когда его просили,  
Хоть старым был и за день уставал,  
Колхозный кучер, Ващенко Василий,  
Военные иконы рисовал.  
Еще казались вдовы молодыми,  
Еще следили за дорогой мы.  
Еще витала в сумеречном дыме  
Печаль вещей, покинутых людьми.  
А дед Василий — памятники строил.  
Он выпивал, но дело разумел.

Он как художник, — ничего не стоил,  
Но ключик от бессмертия — имел.  
По имени погибшего солдата  
Он брал сюжет. И посреди листа  
Изображал Николу с автоматом  
И рядом с ним с гранатой — Христа.  
Мы шли к нему. Нам странно это было.  
Но вот стоишь — и глаз не отвести,  
Увидев меч в деснице Гавриила  
И орден Славы на его груди...

\* \* \*

Нам досталась такая страна,  
что к душе прирастает, как кожа, —  
где кругами идут времена,  
а иконы — на близких похожи.

Где не с каждою шуткой смешно,  
и не всякая слава стодится.

Где достаток иметь не грешно,  
а богатства — привыкли стыдиться.

Здесь у нас выпивают легко:  
с полведра ухлебнут — и не охнут.  
А по рекам течет молоко,  
только рыбы от этого дохнут.

И какой-то родительский свет  
насыщает деревья и травы.  
Но в пророках — Отечества нет,  
а спасатели — вечно не правы.

Выйдешь ночью — большая луна  
за леса свои зарева прячет.  
У вокзала гулянка хмельна  
под советскую музыку плачет.

Задевая за кроны деревьев,  
ходят звезды по вечному кругу.  
И какой-то неясный припев  
добавляется каждому звуку.

И глядишь, как с осенних дубрав  
прилетает листва золотая.  
И стоишь, как последний дурак,  
непонятные слезы глотая...

\* \* \*

В продавленной луже любого следа  
протекшее небо колышет вода.  
Весна — не весна: наказание.  
Размокшую землю копать не с руки.  
Подался бы в город от этой тоски —  
да все не найду расписанья.

Я книг не читаю, и водки не пью,  
вослед за газетой душе не даю  
томиться державным недугом.  
Но в нас нестираемо это клеймо,  
и время проходит сквозь стены само:  
то эхом, то криком, то слухом.

Зайду в магазин — мужики «на газах»,  
былого сочувствия нету в глазах,  
не спросишь «за так» сигарету.  
Каким-то страданием люди больны,  
как будто живем от войны до войны,  
и легкого дыхания нету.

Дойду по дороге до старых калин.  
В осенней щетине непаханный клин —  
на осень не жди урожая.  
Немеряны дали, несчетны леса —  
да вот отливается чья-то слеза,  
и тучи заходят с Можая.

Здесь пустоши пахнут ордынской золой.  
Здесь, в землю войдя, становились ветлой  
те стрелы, что пущены Грозным.  
И гул Бородинский витает в земле.  
И древние стены в Можайском кремле  
унижены словом стервозным.

Где серым пожаром, где мертвой водой  
проходит по насыпи век молодой,  
на деньги и похоти падох.  
По русским могилам пошла лебеда...  
А, может, и не было их никогда,  
и нет у России загадок?..

*Можайск — Москва*

\* \* \*

Вот оно, Господи, позднее время мое!  
Знала ли юность, что с нею случится такое?  
Печка дымит, и тепла не идет от нее.  
Сердце дурит. И товарища нет под рукою.

Время зимы, выдающей себя за весну,  
снег января замесившей войною и грязью.  
Время зеркал, затаивших свою кривизну,  
чтоб человек привыкал к своему безобразью.

Время предателей. Время пролаз и подлиз,  
деготь вранья улащающих ложкою мёда.

Время деревьев, повёрнутых кронами вниз.  
Время кротов, научающих птицу полёту.

Время убийц, ощущаемых каждой спиной.  
Время, когда, опустевшие души калеча,  
сленг иноземный срастается с феней блатной,  
чтоб мародёрствовать в русской болеющей речи.

Старых знамён и орлов геральдический бред.  
Странных законов почти несваримые брашна.  
Время солдат, у которых Отечества нет.  
Время наград, удостоиться коими страшно.

Время свободы, которой уже через край:  
хлеба добудешь, а чести себе не алкаешь.  
Не привыкай, — говорю себе, — не привыкай! —  
в этом и подлость, что ты ко всему привыкаешь.

Не привыкай, — я себе говорю, — удержи  
совесть от сна и сознание своё от распада.  
Сядь за бумагу и правнуку письма пиши.  
Голос твой слаб, но надсаживать горла не надо.

Только бы выстоять, только бы духом не пасть,  
не разрешая себе ни навета, ни лести.  
Шут с ней, другая — но только бы честная власть:  
стерпится-слубится, если женилка на месте.

Печка пошла. Продолжается день не спеша.  
Падает снег, проходящему дню не мешая.  
Слышится стон — приближается чья-то душа —  
или — в полях электричка проходит к Можаяу...

\* \* \*

Когда тревога вставит ногу в стремя,  
и, убывая, загорится время,  
и мы пойдём, сминая зеленыя,  
за танками, надев противогазы,  
на жизнь и смерть по голосу приказа —  
любовь моя, не покидай меня!

Когда в горах или пустыне дальней  
придёт последний час исповедальный  
на линии прицельного огня,  
то, этот час доверив нашей чести,  
не одного — с товарищами вместе —  
любовь моя, не покидай меня!

Когда в кругу весёлого застолья,  
где и стихи, и речи льются вольно,  
и, нас полунамёками маня,  
горят глаза и светят чьи-то лица, —  
дай руку мне, дай сердцу не разбиться,  
любовь моя, не покидай меня!

И даже там, где только тьма немая,  
а женщина, другого обнимая  
и об ушедшем память не храня,  
посмотрит ввысь. Когда с небесной кручи  
скользит на землю метеор падучий, —  
любовь моя, не покидай меня!

**Отзывы на публикацию Юрия Беличенко на сайте «Российский писатель»:**

**Дмитрий Ермаков**

**22.02.13 09:29**

Это настоящая Поэзия! Как жаль, что не знал раньше этого поэта. Как разорвано русское поле! И надо его «сшивать», стягивать. Вот такими публикациями, например...

**Юрий Серб**

**22.02.13 12:45**

Спасибо «Российскому писателю» за возвращение к читательскому слуху — вопреки враждебному духу времени — славных русских талантов!

Спасибо Николаю Дорошенко!

**Григорий Блехман**

**22.02.13 12:46**

«...Но то, что приходит с рожденья, ревизии не подлежит...»

Сразу видно, что этому человеку с рождения дано быть поэтом, потому что ни в одной строчке нет надуманного, а всё и высоко, и глубоко одновременно. И талантливо сказано. Жаль, что уже не смогу в очередной раз выразить Юрию Николаевичу эти слова при встрече. Согласен с Дмитрием Ермаковым, что такие публикации всегда и особенно сейчас очень важны.

**Анна Козырева**

**22.02.13 17:13**

В изд-ве Литинститута в 2011 г. вышла замечательная книга «На границе тысячелетий. Страницы русской лирики». Светлана Сырнева. Юрий Беличенко. Виктор Верстаков. Сергей Попов. Александр Сорокин. Составитель В.П. Смирнов. В своем предисловии Владимир Павлович пишет: «Завершилось второе тысячелетие от Рождества Христова. Завершился великий и страшный год в мировой и русской истории. Завершился и век русской поэзии, которую совсем недавно называли новой и новейшей, но это открытая завершенность, ибо многое из прошлого будет определять судьбы русского поэтического слова в веке XXI и далее, далее... Русская поэзия всегда была и, надеемся, останется великим свидетельством подлинности и неслучайности мира, России, человека. Не только свидетельством, но и оправданием». «В книге представлены лишь страницы современной русской лирики. Сборник не претендует на некую временную завершенность и полноту. Поэты представляют лишь самих себя, свой собственный опыт и видение, а не художественные направления, тенденции, объединения и прочее. Названные поэты прежде всего интересны и знаменательны своей отдельностью, единственностью. Их объединяет лишь принадлежность ко взорванным временам, эстетика будничных слов, отсутствие столь обычного поэтического высокомерия, грошовой тяжести со временем и проклятий «свалившемуся под ноги веку». И, наконец, под одну обложку их свела «общая жизнь России» и наличность пути. Здесь будут уместны такие утверждения. В изумительной статье «Пушкин — наш товарищ» Андрей Платонов писал: «Пушкин сознавал и свою ответственность перед народом... зависимость своего поэтического дара от общей жизни России...» Эта зависимость — родовое свойство всей русской поэзии...»

По большому счету книга — настоящее событие, но, как известно, настоящее у нас сегодня не в почете.

**Вера Дмитриевна**

**22.02.13 17:47**

«Не в том беда, что нам меняют флаги»... Слов нет, чтобы выразить всю гамму чувств. БЛАГОДАРНА БЕЗМЕРНО.

**Людмила Владимировна**

**23.02.13 00:55**

Я не знала имени: Юрий Николаевич Беличенко. Но теперь вовек не забуду.

Его «истина, запекаясь словом» — выстраданным словом! — очень нужна сегодня. И — навсегда. Спасенье ли «...от этих перестроек, / беременных гражданскою войной»? Как сказано, а?!. Не знаю... Но его, таких, как он, нам НАДО знать!

...Горько, но ведь верно! — «Я жить хотел в эпоху не большую, / но у России не было такой».

Россия потеряла прекрасного поэта и гражданина. Мыслителя! Даже в этой небольшой подборке сколько афоризмов!

«Когда соглася в патриотах нету, / кошмарные Россия видит сны».

«...всем хочется в вожди и президенты, / и никому — в ткачи и слесаря».

«...все говорят от имени народа, / отнюдь не зная имени его».

«...лишь любя возможно ненавидеть / и страшно ненавидеть не любя».

«...здешняя жизнь коротка, / но она, говорят, иногда продлевается словом».

Можно приводить и приводить...

Огромное спасибо, Николай Иванович, за публикацию! А нам всем — в пример, подражание и — преклонение:

«И думал я: покуда хватит крови,

мы — Пимены в «Борисе Годунове».

Наш долг писать — хотя бы в никуда».

Светлая память Русскому поэту — Юрию Николаевичу Беличенко! Да продлится его жизнь его словом!

**Нина Волченкова**

**23.02.13 01:34**

Ещё одно Имя подарено свету, еще одна Память молитве сродни...

**Валерий Латынин**

**6.03.13 13:56**

Один из самых благородных и мудрых поэтов-воинов XX века! Очень не хватает его дружеского внимания и сочувливой поэзии. Никто не написал о Лермонтове лучше и честнее Юрия Беличенко. Помню, люблю, скорблю!

**Сергей Тимшин**

**30.12.14 20:59**

Замечательные стихи! Замечательный поэт! Радуетея и грустит сердце... Спасибо...

**Сергей Смирнов**

**06.03.15 22:21**

Удивительно то, что эти мудрые, мужественные стихи к тому же еще и очень музыкальны. Песни, случившиеся на его стихи — «Военный романс» (Когда тревога вставит ногу в стремя...), «Переключка» — (Переключка идет, переключка идет по военным полкам...), «Память земли» — (А там, в земле, еще идут бои...), «Карасиное озеро» — (В карасином озере степном...) — всегда очень тепло воспринимаются на моих концертах. Бесконечно жаль, что песни на стихи Юрия Николаевича не успел он сам услышать...

**Сергей Сметанин**

**11.04.16 17:44**

Хорошие стихи. Что-то скажут КОГДА-ТО о наших доблестных литературных критиках, которые всё это так успешно «замолчали»!??

С уважением.

**Анна Морковина**

**09.05.16 20:30**

Великолепные стихи! Как жаль, что автор уже не с нами...

Стихотворение про мальчика и «кусочек сыра» меня заставило некогда остановиться в суете будней и задуматься.

СПАСИБО!

## ВЛАДИМИР СКИФ

### Воспоминание с посвящением

1985 год. В Иркутске проходит декада советской литературы. Небывалое количество самых известных имён: Юрий Кузнецов, Виктор Астафьев, Михаил Алексеев, Мария Аввакумова, Андрей Скалон, Георгий Куницын, Андрей Дементьев, Юрий Беличенко, Татьяна Бек, Илья Фояков, Юрий Разумовский, Галина Дробот и многие другие.

Встречи проходят не только в самом Иркутске, но и в области. Все гости разбиты на несколько групп и направлены кто-то в Ангарск и Усолье-Сибирское, кто-то в Братск и Усть-Илимск, кто-то в Слюдянку и Байкальск.

И дальше — в Зиму, Тулун, Нижнеудинск. Сопровождающими или руководителями групп приглашены иркутские писатели.

Я назначен в Нижнеудинск. Мои подопечные: Мария Аввакумова, Юрий Разумовский, Юрий Беличенко и Татьяна Бек. Самые близкие мне Мария Аввакумова и Юрий Беличенко, с которыми я уже знаком несколько лет, а с Юрием Разумовским и Татьяной Бек знакомимся в процессе нашей командировки.

Едем радостные и окрылённые, поскольку в конце нашего путешествия нам обещана поездка в Тофаларию, в её столицу Алыгджер. Дорогой я рассказываю про города и посёлки, мелькающие по обе стороны дороги, где мы коротко останавливаемся, выходим на станции на 5-10 минут. Вот мои родные посёлки Харик, Куйтун, где я родился и учился, читаю стихи о малой родине:

*Сяду в поезд и поеду  
В край стогов и полных лун.  
Приставать начну к соседу:  
«Как там родина Куйтун?»*

*Как там люди поживают  
Летом, осенью, весной.  
Люди хлеб свой пожинают,  
Делят поровну со мной...*

А Маша Аввакумова читает своё «Вербное воскресенье»:

*Святили вербы. Молодой  
Священник брызгался водой  
Из лучезарного потира  
Какой-то щёткой золотой,  
давась улыбкой молодой,  
И тем же ты ему платила.  
...и целование креста,  
потом — в колени и уста.  
Всё совершалось жадно, жарко.  
И было этих баб не жалко.  
Их радость так была чиста  
купанья в Иордане. Тело,  
прощенья испросивши, пело.*

*Дух загорелся жить и жить  
и всё заблудшее, больное,  
всё призрачное, отставное,  
всё отгоревшее — любить.  
Да, всё и всех... благословясь!  
И к этой жизни сиротливой  
ты вышла мокрой и счастливой,  
как верба, сердцем серебрясь.*

Юра Беличенко офицер, в то время работал в газете «Красная звезда» и печатал мои стихи на её страницах, к тому же редакция ещё и платила приличные гонорары. Удивительное было время, яркое, наполненное творчеством, неожиданными событиями, вдохновением, каким-то неведомым ожиданием, сопричастностью ко всему, что уже тогда происходило на волнах перестройки, и, в конце концов, так подло уронившее нас. Это время уже в далёком прошлом, но его шипы и порезы мы вынимаем и залечиваем до сих пор.

А пока мы едем в неизвестный для гостей Нижнеудинск. Вот в этой-то поездке мы с Юрой Беличенко очень сильно прикипели друг к другу. Обрели полное понимание в творчестве и делились новыми стихами и рассуждениями о русской поэзии.

После командировки, в эти же дни, в Москву летели вместе. В Домодедово Юру встречала его жена, известная поэтесса Ольга Ермолаева. Потом мы некоторое время переписывались, обменивались книгами, а в начале XXI века Юры не стало. Это был 2002 год. Юре только что исполнилось 63.

### **Юрию Беличенко, русскому офицеру, автору книги «Полынь зацвела»**

Привела тропа росистая  
Оборону в русский тыл,  
Где цветёт полынь российская —  
Чернобыльник, чернобыл.

В обороне той — дружинники,  
Песнопевцы — ты да я,  
Да ещё отцы-пустынники,  
Да родимые края.

Хлопья падают чугунные  
На чернобыльскую рожь...  
Под Ордою и под гуннами  
Не косил такой падёж

Моего народа грустного,  
Бравшего Берлин, Париж!  
Оборона святорусская,  
Почему же ты молчишь?

Прогревшие победы —  
Офицеры — где вы есть?  
Многие Отчизну предали,  
За алтын продали честь.

Беличенко Юра мается —  
Офицер и гражданин,  
Кровью-словом отмывается  
Он за вас за всех — один!

Эй, вы, нелюди упёртые!  
Змеи с тысячами жал!  
Он своей рукою твёрдою  
Раны Родины зажал.

Произнёс слова прогорклые,  
Душегубов удивил  
И во тьме полынью горькою  
Кровь-руду остановил.

1993



ИГОРЬ АБРОСКИН

## «Рыбак, охотник — дома не работник»

*Народная мудрость*

**Разговор наш пойдет о зимней рыбалке на Братском море, самой распространенной у нас рыбалке с ноября по май.**

Прекрасны поздняя весна, лето, ранняя осень. Ловля на верховую, грузовую снасти. Хорошо посидеть на берегу, наблюдая за поплавком. Чудесно побродить со спиннингом, поблеснить. А если еще есть лодка, если клюет! Но тепло у нас скоротечно, и вот уже октябрь на излете, уже земля затвердела, скованная морозцем, уже был и первый, и даже второй снег, и воздух стал прозрачным, ледяным, им уже не дышишь, а пьешь его, и... — приходит предвкушение, предощущение зимней рыбалки.

### Перволедье

Действительно, ноябрь ждешь с нетерпением. Именно в первой половине ноября, когда пораньше, когда чуть позже, встает, сковывается льдом Братское море-водохранилище. Не все, конечно же, не одновременно, не разом. Ангара, точнее то, что осталось от прозрачной, упругой, быстрой, синеокой красавицы, ее стрежень, бывшее основное русло, еще долго гуляет под космами тумана, вращается, то синяя от света внутреннего и небесного, то чернея от натуги, в неравной борьбе с ветром и морозом. А заливы и заливычки отдаются льду быстро и безропотно. Вот в этих заливах и начинается первая зимняя рыбалка, так называемое перволедье. Лед тонкий, сантиметров пять, семь, потрескивает, ходить боязно — «обломился лед, душа оборвалася». Начинается осенний жор. Рыба перед глухозимьем усиленно питается, нагуливает жирок. Ловится в основном окунь, часто попадет ерш, — рыба мелкая, чрезвычайно сопливая, колючая, очень надоедливая и... — вкусная! В шутку ерша рыбаки величают бершом — царь-рыба, одним словом. Клюет и сорожка, но она, в основном, вся с глистами, вялая, бледная, пузатая. Вот, пожалуй, и все, чем зимой делится с нами Братское море. И с горечью читаешь бесхитростные воспоминания жителей ангарских деревень, деревень уже давным-давно затопленных:

*«Богучанскую ГЭС запустят, тогда уже все, ангарская сторона кончится. Счас хоть от Богучан до Енисея мало-малышка есть еще рыба, а потом все кончится. Вот ГЭС же эта Усть-Илимская, или вот Братская хотя бы взять, оне же всю Ангару здесь кончили. Раньше кака токо рыба ни была здесь! И осетр, и костерка. А ГЭС кода, плотину перегородили, а ей деваться-то некуда, она же на икробой в боковы, ключевы речки плывет, а их же затопило, речки-то, море*

*же кругом стало, и она билась, бедна, о камни, рыба-то, осетр вот, и на берег выбрасывалась. Берега-то, ... серебряные были. Вот сколь рыбы-то повыбрасывалось! Тонны ее. Вот едешь, все блестит. Все усыпано было. А на берегах этих че было? Медведи табунами ходили, рыбу эту ели. Вот. Ад разворотили!.. И пить нельзя воду. Рыбы не стало. Погибаловка!» («Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Афанасьевой-Медведевой).*

## По Ангаре

Да, нет уже Ангары, но свет ангарский столь силен, столь велик, что тянет и тянет, засасывает в эти белые просторы, окаймленные невысокими холмами, — островерхими и плоскими, лесистыми и безлесыми.

Декабрь, январь. Устанавливается прочный лед и ложится ледовая дорога практически по стрежню Ангары, по ее правому берегу. Дорога чистится тракторами до бирюзы, до льда. По ней, прогибая лед, прут лесовозы.

Усть-Уда, Светлолобово, Еловый, Ключи, Янды, Аносово. Заветные, заповедные для рыбацкого уха слова, чистая музыка. Места старожильческие, древние, отсюда входили наши предки в Байкальскую Сибирь. Янды, Яндинский острог, основанный Яшкой Похабовым в 1660 году, на год раньше Иркутского острога, распутинская Матера, Усть-Уда... все на дне. Века под нами!

В том году отморозил тут, в районе Ключей, указательный палец левой руки. Вижу лукавые, понимающие усмешки, мол, был бухой, с нажимом на «хо»! Нет, успокойтесь мои доброжелательные, я был абсолютно трезв, проехал (за рулем) на круг около 350 километров, набурился до боли в ребрах и руках, поймал четыре килограмма окуня (мало!). Просто был пронзительный южный ветер, дувший точно по стрежню Ангары сверху вниз, а по обочь были лесистые холмы, а под ногами — белый искристый шевелящийся покров — струйки белого, бегущего, сыпучего холода. А над — нежно-голубое, призадернутое перистым ватином небо. Глубина — 17 метров. Равнодушные желтые с черным зраком глаза вытащенного окуня в минуты задерживала смертельная морозная пелена, яркие плавники тускнели и крошились. Двадцатиградусный, смирный в затишке мороз на ветру ножом резал фаланги двух оголенных пальцев — большого и указательного (перчатки специально обрезаны для удобства выуживания). Но рыба клевала, и я терпел, и вот дотерпел. Дома, в тепле кончик указательного пальца левой руки заныл, побелел, потом посерел. Я намазал обмороженное место живицей пихты (она когда-то очень помогла мне при сильном ожоге) и «Спасателем». Поужинал и лег спать. Все зажило, продолжаю рыбачить в таких же перчатках. А насчет спиртного на рыбалке? — Пьянка и рыбалка совершенно несовместимы. Первое напрочь перечеркивает второе. А так, для поднятия духа — «давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим» над этими холмами, под этим небом — кто ж против, кто запретит? — можно!

## Балансир или мормышка?

Рыбалка обычно начинается так. В очередную среду созваниваешься с сотоварищами рыбаками, выясняешь, когда, где, кто и сколько поймал. Составляется команда, планируется маршрут. В четверг проверяешь снасти, и в субботу, когда

город еще спит, по темнушке, часов в пять утра идешь в гараж. В шесть, в начале седьмого — выезд. До моря сотня с лишним километров, а ночи зимой бесконечные, длинные, в декабре восемь утра — это глухая ночь. Полтора-два часа отдай не грехи дороге. И вот едешь, например, по Балаганскому тракту, по правую руку над заливом встает огромное красное солнце, оно здесь свободно от городских теснин, лишь дымка, сливающаяся со льдом, окутывает светило, косматится вокруг него. Деревеньки — бурятские, русские, заснеженные крылья крыш, повалившиеся заборы и свежеструганный штакетник, печные дымы, лошади, копытающие снежную целину, и даже коровы, бычки...

А вот и собственно залив. Добрались. Достаются рыбацкие ящики, расчехляются буры. А дно багажника у меня устлано резиновым ковриком, на коврик фанерка-стол, на столике режется сало с прожилками, с мясом, сольтисон... Солнышко в спину тычется, едва греет, шепотом поторапливает — на лед, на лед, на лед! По глотку чая или чего еще — и пошли.

Схематично, грубо, условно зимнюю рыбалку можно разделить так: ловля на мормышку и ловля на балансир (блесна, ратлин); на сидячую и ходовую. Что кому ближе — в силу характера, темперамента, привычки. Кто-то бурит одну лунку, ставит палатку, кипятит чай, меняет мормышки, подсаживая мотыля и опарыша, и ждет свою удачу. Кто-то проходит не один километр, делает десяток, полтора лунок и тоже находит или не находит свою удачу. Отдав, в течение десяти лет, должное мормышке, я сейчас рыбачу на балансир. По мне это более живая рыбалка и больше шансов поймать крупного окуня. Многие сочетают одно с другим, и, наверное, они правы, истина всегда где-то посередине. Но, все это детали, тактика с техникой. Давайте о людях. Какие имена в нашей компании! Тут своя иерархия: Вася-Балансир, Володя-Мотыль, Разведка, Диспетчер... Свои пристрастия, характеры, привычки, манеры, ревность, гордость. Вот на днях едем на рыбалку, поворачиваем с трассы в степь, и видим за собой целую вереницу машин, спешащих за нами, огни, огни... «Эх! Мошонку твою на распашонку! Конкуренты, конкуренты...» — цедит в окно Диспетчер. Нервный смех, слишком громкие шутки — утрянка.

На льду минус 16. Два мохнатых кавказца с ошейниками подбежали к машине, крутятся, просят пожать. Угостил их первым, что попало под руку — кексиком. Только зубы клацнули. Суют большие бошки в багажник. Прикрикнул, приструнил: «Фу!». Отошли, завияляли хвостами, повинились. Глупые! Да, гавкни вы по-серьезному, я бы вам весь сольтисон с колбасой скормил. А так — хвосты кольцом и побежали весело на лед к другим рыбакам. Хорошие псы, хороший, тихий, светлый, солнечный выдался день. Поймал штук тридцать, сорок, Диспетчер за сотню. Он на мормышку, я на балансир. Ладно. Зато — какой закат! Истинное утешение. Вон, сбросив на степь юбочку розовую, встало небо — голое, и стало просто хорошо. И этот закат, которому предшествовал рассвет, это первое и последнее, золотое, приходящее и уходящее вечное солнце, и звезда двух зорь — Венера, и ты судневный, временный свидетель всему этому...

Потом в сумерках дорога домой, прямо на вечернюю звезду. Стемнело совсем. Только переключился на ближний свет, пропуская встречную, как на дороге стеной, из-под земли, выросли две лошади — одна гнедая, вторая — вороной масти. Подняли головы, выгнули шеи, смотрят — глаза лошадиные большие, испуганные. Едва успел взять левее и затормозить. Машина, припав на передние колеса, резко встала. Запахло подожженными колодками.

Вот еще одна важнейшая составляющая рыбалки — дорога. «Эх, дороги!» — без них в рыбалке никак, они ведут на море и торопятся домой. Они — наст, колея, снег, лед, асфальт, они тревожат, злят, восхищают, не пускают и выносят на волю вольную — сумел, добрался! Победил! Это нервы, жилы, пронизывающие, связывающие в единое целое то, что называется рыбалкой.

## В сухом остатке

Сама по себе рыбалка — это творчество. Облако ожиданий и лед будней, и главное — предчувствие, предощущение, что больше и значительней, существенней самой обычной, средней, трудовой рыбалки, где падает или резко растет давление, и режет ветер или сковывает мороз, не клюет или клюет. Но... Подняв голову, глянув окрест: солнце, поземка, снег, лед, лес окоемом, холмы-шеломы... И все — душа наполнена, и больше ничего не надо... Нет, надо — чтобы клевало, надо подобрать снасть, наживку, подать все это в лунку, надо не замерзнуть... Но все это внутри вот этого дивного прозрачного ледово-небесного мира, где ты посередине, с кивком, удерживающим глубину на леске, и махом ввысь — выхватывающим дрожащую, трепещущую чужую жизнь. Может в этой дрожи и весь смысл рыбалки?

Дерево с поврежденными корнями, лишенное почвы, погибает. Вот и мы — жители городов — похожи на такие деревья. Наша опора, наша почва, наша питательная среда — вон она, за построенными нами городами, за городской чертой. Да, это заливы и быстрые реки, высокие и не высокие горы, леса, беспощадно нами вырубаемые, степи. Все это наша первородная, Богом данная, нерукотворная среда. Мы оттуда родом. Туда нас и тянет из уюта наших бетонных квартир. Кого-то просто на солнышко, на часок, на другой, за город, на шашлычок, кого-то на Эверест. И зимняя рыбалка с ее холодом и неуютом — следствие этой неутолимой родовой тяги.

Ну, да ладно, Эверест высоко, быстрые реки слишком далеко, а пойманные окуни — вот они. И эти окуни, занесенные домой с сильного мороза и с костяным стуком обрушенные в ванну, через часок-другой начинают постепенно оттаивать, их плавники становятся ярко-ярко, до неестественного, красными, а тельца покрываются снежным куржаком, как будто кто-то уже присыпал окунишек крупной тыретской солью. Это выходит, вырывается наружу вольный морозный дух заливов, дух нашей прародины.

Как хорошо на нашей, увы, бывшей Ангаре. Право слово, всегда хорошо!

*29.11.21 г.*

## ВЛАДИМИР СКИФ

### «За окном продрогшего вижу воробья...»

*В провалах неба нет грани,  
Томится город в снежной яме.  
Но стало больше светлых лиц,  
Нежнее дружба с воробьями.*

*И мы в своём житье-бытье,  
Умерив страсти и страстишки,  
Сказ поведём о воробье  
И улыбнёмся воробьишке.*

(Вл. Скиф)

Когда-то в далёкие семидесятые годы я поселился в знаменитом «Коммерческом подворье», бывшем в то приснопамятное время общежитием артистов Иркутского драмтеатра им. Н.П. Охлопкова. Кроме них в этом доме, и вправду, как воробьи под застрехами, ютились музыканты и художники, режиссёры и писатели, какие-то удивительные, как из прошлого века, бабушки, напоминавшие старых воробьих, бутафоры и костюмерши, а также служители будущего всемирного монстра, а по тем временам вполне безобидного иркутского телевидения.

Мне помнится чистый и опрятный, почти без машин Иркутск. Копоти и сажки в его лёгких, вне всякого сомнения, было в десятки раз меньше. Да это ощущалось и по воробьям. Они не были такими чумазыми, как нынче. Понятно, что жизнь у них не сладкая: сколько приходится облетать мусорных баков, рынков, барахолки и прочих людных мест, сколько нужно пропрыгать по дорожкам и тропинкам в поисках семечка или хлебной крошки.

Но, действительно, несмотря на эти облёты и шныряния маленьких крылатых «гаврошей», они в ту нашу отлетевшую в туман прошлого бытность казались мне чуть ли не райскими птицами. Воробьёв я жалел всегда, начиная с самого раннего детства, когда наша многолюдная, почти воробьиная семья, жила в посёлке Харик.

Вот и здесь, в Иркутске, мои деревенские привязанности к воробьям не угасли. Живя в «Подворье», я превратил в большую кормушку внутренний двор театрального общежития и базы «Роскульта». В те времена бытовала в Иркутске такая организация, соседствуя и деля с нами один и тот же двор.

Каждое утро, особенно зимой, я высыпал крошки и семечки прямо из окна моей комнаты во двор, чем вызывал неудовольствие местного дворника. Всякий раз, когда я это делал, он грозил мне метлой и обещал пожаловаться начальству: директору Иркутского драмтеатра или директору базы, хотя воробьи мой хлеб, крупу и семечки съедали дочиста. Мне казалось, что воробьи всего города слетались к «Подворью» и ждали очередной кормёжки. Их слеталось так много, что весь двор, как живой, двигался и трепетал, усыпанный чирикающими пушистыми мячиками. Я думаю, что дворник тоже любил воробьёв, но не показывал вида. Подождав немного, когда они сметут «подворскую» еду, он выскакивал из своего закутка с метлой и долго ругался на меня и воробьёв. Так повторялось почти каждый день.

И вот однажды я купил бутылку водки, банку тушёнки, булку хлеба и пошёл к дворнику мириться и говорить с ним за воробьёв. Как ни странно, он меня встретил приветливо и завёл в свою полутёмную каморку, в которой размещались лежанка, столик, две табуретки, печь, а на небольшой замасленной скамейке прилеплась электроплитка. Увидев тушёнку и бутылку, дворник без долгих разговоров включил плитку, вскрыл кривым ножом банку с тушёнкой и бухнул мясо на сковородку.

— Садись! — указал он мне на щербатую табуретку, — наверное, будем пить за твоих воробьёв?

— И за твоих тоже, — улыбнулся я и поставил бутылку водки на краешек стола.

— Я их жалею, но они мне надоели. Директор базы орёт, что всё здание обгадили, — дворник посмотрел на бутылку, всё более смягчаясь, — будешь, говорит, отскребать помёт. А что там отскребать? Воробей же не корова.

— Правильно, зданию теплее будет, — рассмеялся я.

Тушёнка на сковородке разогрелась и зашкворчала. Дворник снял её с плитки, из-за печки достал два кирпича и ловко поставил на них сковородку. Я открыл бутылку, разлил по стаканам водку, и мы выпили. Хлеб напластали большими кусками, и тушёнку ели ложками. Ничего не помню более вкусного, чем эта разогретая, духмяная тушёнка со свежим хлебом.

— Вот видишь, с каким удовольствием мы с тобой едим, — начал я свою песню, — а, думаешь, воробьям не охота кушать?

— Охота-то охота, дак меня ж, как кошка воробья, ест директор, — пожаловался дворник, — вот иди к нему и пой ему про своих воробьёв.

— И пойду, воробьи такие же люди, как и мы, только в перьях. У них всё, как у нас, поэтому я их буду защищать. — Это во мне уже так возбуждённо и категорично трубила «Столичная».

Договорились мы до того, что дворник уже полностью был на стороне воробьёв и обещал даже не замахиваться на них метлой. На другой день и с директором базы мы тоже выпили бутылку водки, я читал ему стихи про воробьёв, которые кропотливо собирал для своей антологии. Директор расщедрился и подарил мне полмешка брикетов просроченной просовой каши. Вот был праздник так праздник у моих воробьёв!

О живучести воробьёв ходят легенды. Эти истории не придуманы ради красного словца, а взяты из реальной жизни. Через несколько лет я переселился из «Подворья» в дом на улице Богдана Хмельницкого, где произошёл вóвсе невероятный случай с воробьём.

Однажды суровым зимним утром жена мне сообщила, что у нас в ванной откуда-то сверху свалился воробей. Мы живём на втором этаже, над нами ещё два этажа, потолки высотой почти четыре метра — откуда он мог свалиться? Я вошёл в ванную и обнаружил вверху, под самым потолком, очень узкое, сантиметров восемь в диаметре, вентиляционное отверстие, про которое я до сего времени и не знал, и здесь же в ванной увидел сидящего на стиральной машине воробья. Он был совершенно измучен, даже не пытался упорхнуть, а только смотрел на меня осмысленным человеческим взором. Видимо, он сел погреться на кирпичную кладку вентиляционного выхода, согрелся, задремал и свалился в трубу. Вероятнее всего, что он упал на самое дно этого жуткого колодца. А как выбирался снизу до второго этажа, до нашей ванной — одному Богу известно. Мы воробья сочли за героя, сытно его накормили, отогрели и выпустили на улицу.

Великая жизненная сила держит в мире эти крохотные серые комочки и не даёт им сгнуться в стихиях и катаклизмах планеты. Может быть, эта жизнестойкость, это удивительное жизнелюбие серых невзрачных пичуг подвигло меня собирать «Антологию стихов о воробьях». Поначалу я специально не занимался поисками «воробьиных» стихов, а просто переписывал в тетрадь то или иное стихотворение о воробушках, найденное в периодической печати или в чьём-либо сборнике.

Так я обнаружил стихотворение о воробье у Давида Самойлова, такое милое и непритязательное, такое уютное и доброе, как сама эта малая пташка:

*Музыка играет  
В тихом кафетерии.  
Воробей порхает  
За окном на дереве.  
Веселишься, малый,  
На носу апрель.  
Проживём, пожалуй,  
Несколько недель.*

А у Семёна Липкина возник озорной бунтарь, этакий царь-государь, который обнаружился среди вечного зимнего покоя:

*Заколочены дачи. Не едут машины.  
Лишь бормочут во сне ближних сосен вершины,  
Прочным снегом лесок подмосковный одет.  
Так чему же ты рад, мой поэт воробьиный,  
В сером джемпере жгучий брюнет?*

*Медно-красного солнца сиянье сухое  
На тропинки легло, задрожало на хвое,  
Обожгло беспредельных снегов белизну,  
Ядом сердца вошло в твоё сердце живое,  
И почувал ты, бедный, весну.*

*И тебе показалось, что нежен и розов  
Небосвод, что уж больше не будет морозов,  
В толщу снега проникла горячая дрожь,  
Даже в дальних, знакомых гудках паровозов  
Ты весёлую весть узнаёшь.*

После «липкинского» жгучего воробья-брюнета в сером джемпере давайте вспомним моего сибирского, «подворского» воробья:

*О, воробей, пичуга малая,  
Жить по застрехам — твой удел.  
Ты часто смертушку обманывал,  
Когда от ветра леденел.*

*Прихваченный морозной лапою,  
И жизнестойкий потому,  
Ты жизнь из снега выцарапывал,  
Спешил к подворью моему.*

*Жильё, позёмками обёрнуто,  
Манило призрачным теплом,  
И там тебе то хлеб, то зёрнышко  
Перепадали под окном.*

У Бориса Чичибабина нет разделения на людей и воробьёв, они философски и жизненно близки друг другу, они совместимы в борьбе за выживание, они очаровательно свиристят и чирикают, поют друг о друге. Чичибабин, совершенно не сомневаясь, посвящает воробью торжественную оду, как, в своё время, Ломоносов или Державин посвящали оды царям.

### **Ода воробью**

*Пока меня не сбили с толку,  
презревши внешность, хвор и пьян,  
питаю нежность к воробьям  
за утреннюю свиристёлку.*

*Здоров, приятель! Чик-чирик!  
Мне так приятен птичий лик.  
Я сам, подобно воробью,  
в зиме немилрой охолонув,  
зерно мечты клюю с балконов,  
с прогретых кровель волю пью  
и бьюсь на крылышках об воздух  
во славу братиков безгнёздых.*

*Стыжусь восторгов субъективных  
от лебедей, от голубей.  
Мне мил пройдоха воробей,  
пророков юркий собутыльник,  
посадкам враг, палаткам друг, —  
и прыгает на лапках двух.*

*Где холод бел, где лагерь был,  
где застыт крыльями засовы  
орлы-стервятники да совы,  
разобранные на гербы, —  
а он и там себе с морозца  
попрыгивает да смеётся.*

*Шуми под окнами, зануда,  
зови прохожих на концерт!..  
А между тем не так он сер,  
как это кажется кому-то,  
когда из лужицы хлебнув,  
к заре закидывает клюв.*

*На нём увидит, кто не слеп,  
наряд изысканных расцветок.  
Он солнце склёвывает с веток,  
с отшельниками делит хлеб  
и, оставаясь шельма шельмой,  
дарит нас радостью душевной.*

*А мы бродяги, мы пираты, —  
и в нас воробышек шалит,  
но служба души тяжелит,  
и плохо то, что не пернаты.  
Тоска жива, о воробы,  
кто скажет вам слова любви?*

*Кто сложит оду воробьям,  
галдящим под любым окошком,  
безродным псам, бездомным кошкам,  
ромашкам пустырей и ям?  
Поэты вымерли, как туры, —  
и больше нет литературы.*

А то, что видит Роман Солнцев, мы тоже часто наблюдаем, когда огромная, как клубок, стая воробьёв до изнеможения кричит и крутится волчком на древнем весеннем тополе:

*Рано-рано на рассвете  
в тёплом тополе густом  
воробы галдят, как дети,  
тополь ходит ходуном.*

Анатолий Преловский напомнил нам то, о чём порою мы забываем, но помнят дети военных лет. В этом искреннем, гуманном стихотворении проявлен жалостливый русский характер:

*Вдали войны. Вдали боёв,  
у школы, на бегу  
мы подбирали воробьёв,  
замёрзших на снегу.*

У поэта-эмигранта, издававшего в Париже газету «Иностранец», Константина Льдова написан воистину гимн во славу воробьёв:

*Их чириканьем и свистом  
Полон воздух в поле чистом,  
Полны рощи и поля,  
Всюду нам везде веселье.  
Точно славит новоселье  
Вся воскресшая земля.*

Всегда непохожий ни на кого Глеб Горбовский теплится загадочной улыбкой и представляет нам своего воробья:

*У дедушки в окошке  
есть птичка воробей.  
Поёт он и играет  
среди ёлочных ветвей.*

*Старик с улыбкой кроткой  
глядит на воробья  
и думает: «Ужотко,  
ведь я — судьба твоя».*

Блистательный поэт Олег Чухонцев, философ и мудрец, написал роскошное стихотворение «Воробьиная ночь». Приведу лишь две строки:

*Воробьиная ночь, воробьиная мгла.  
Всё смешалось в одно,  
а нельзя ошибиться.*

У чешского поэта Мирослава Флориана воробьи становятся монахами:

*Им хватит зёрнышка, монахам этим нищим.  
Они, настёрные, выспрашивают правду до самой темноты.*

От великого японца Басё к нам является несомненно «воробей-человек», постигающий красоту мира:

*Такой у воробышка вид,  
Будто он любит  
Поле сурепки в цвету.*

У десятков знаменитых и менее знаменитых, известных и неизвестных поэтов — свои воробьи, своё к ним пристрастие, своё отношение, но все стихи — это удивительные открытия и откровения о наших серых воробьях. Собирая стихи о воробьях, я убедился, что пишут о них внимательные, добрые, сердобольные люди, часто ранимые и беззащитные, какими являются истинные поэты, а, может быть, они тоже — воробьи?

Не всякий человек оборотит себя, свою душу к этой малой пичуге, к простенькому, незатейливому в песнях и оперении страдальцу, находя в нём собрата по планете или хотя бы соседа по балкону. Не мог, странствуя по собственной судьбе, по русскому Северу, пройти мимо воробья и не проникнуться к нему всем своим существом и Николай Рубцов, написавший о воробье так, как будто о себе:

*Чуть живой. Не чирикает даже.  
Замерзает совсем воробей.  
Как заметит подводу с поклажей,  
Из-под крыши бросается к ней!*

*И дрожит он над зёрнышком бедным,  
И летит к чердаку своему.  
А гляди, не становится вредным  
Оттого, что так трудно ему...*

Удивительная эта близость людей и воробьёв. Воробьи, действительно, стали частью нашего земного бытования. Дети с малых лет знакомы с воробьями, учат-

ся их подкармливать, жалеть, строить кормушки и через воробьёв проникаться уважением ко всему живому на земле. Особый ряд в моей «Антологии» занимают стихи о хлебе насущном для воробьёв. Дети, конечно, улыбаются находчивости воробья:

«Где обедал воробей? В зоопарке у зверей», но, к сожалению, все воробьи в зоопарке не уместятся, да и где наберёшься их, зоопарков-то? Вот и всем миром давайте будем кормить наших вечных спутников по жизни, как это делает хабаровский поэт Арсений Семёнов:

*Вы помните ли воробья?  
Чуть утро, скачет эта птаха  
Средь крошек, мусора, тряпья  
И прочего земного праха.*

*Вы слышите ли воробья?  
Едва засвищет эта птица,  
Уж рядом с ней душа моя  
На ветке тополя гнездится.*

*А как они поют зимой,  
Когда все птицы улетели,  
Как сердце бьётся, боже мой,  
От их стеклянной канители.*

*Казалось, жизнь прошла давно,  
Но утром воробей с наскока  
Стучится клювиком в окно:  
Проснись, лентяй и лежебока!*

*И вот по стуку воробья  
Встаю, заране освежённый,  
Кидаю корку хлеба я  
На подоконник оснежённый.*

С необычайным волнением дети читают и переживают за воробьишку по Горькому, восхищаются тургеневским отчаянным воробьём (а скорее всего — воробьихой): «Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед её самой мордой и, весь взъерошенный, искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул два раза в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!»

В нашей жизни случается так, что мы в некоторых людях видим воробьёв. Вспомните повесть Сергея Каледина «Смирненное кладбище», где один из персо-

нажей именуется никак иначе, как Воробей. Мы в нашей большой семье, где было восемь детей, прозвали младшего брата «Воробьём».

А сколько я собрал стихов, где воробьишками и воробьями чаще всего оказывались беспризорники, как это с болью написано у иркутской поэтессы Светланы Третьяковой:

*Недалеко от здания вокзала,  
Где нищему найдётся скорый кров,  
Торговка колоритная стояла  
Вся в окруженье сдобных пирожков.*

*Почти дремала, мучилась от скуки,  
Привычным жестом отгоняла мух...  
Вдруг незаметно щупленькие руки  
Схватили пирожок — и во весь дух.*

*Враз ожили торговые людишки:  
«Скорей лови!», «Держи!» и «Вора бей!»  
Затравленным зверьком глядит мальчишка  
И пирожок сжимает всё сильнее.*

*И, не сдержав несвойственной мне прыти,  
Уже на помощь сорванцу лечу,  
Я их прошу: «Не надо! Отпустите.  
Он мой знакомый. Я вам заплачу».*

*Прошло лет двадцать. Изменившись слишком,  
Я стала равнодушной и грубей,  
Но вспоминаю всякий раз мальчишку,  
Когда услышу слово «воробей».*

*Я часто этим птичкам вороватым  
Зерно в кормушку насыпаю впрок.  
Где ты теперь, воробышек крылатый,  
Усвоил ли тот жизненный урок?..*

Вообще, воробей, как ворон, соловей и журавль стали у нас знаковыми птицами. С вороном связано всё мистическое, таинственное: «И сидит, сидит зловещий. Ворон чёрный. Ворон вещей» (Эдгар А. По), часто кровавое, смертное:

*Ворон к ворону летит,  
Ворон ворону кричит:  
«Ворон, где б нам отобедать?  
Как бы нам про то проведать?»*

*Ворон ворону в ответ:  
«Знаю, будет нам обед;  
В чистом поле под раkitой  
Богатырь лежит убитый».*

(А.С. Пушкин)

и горестное: «Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой». Соловей — страсть и колдовство, нежность и отвага, полнота чувств и вечная песня любви. Журавли — печальное курлыканье, увядание природы, расставание, прощанье:

«И в том строю есть промежуток малый, наверно, это место для меня» (Расул Гамзатов). А воробей — энергичность, быстрота, ловкость, умение выживать и защищать себя от сильных мира сего, хотя иногда это и детские слёзы, и кроткая жалость, но всегда верность родине, родной стрехе, человеку:

*Меня не ставит он ни в грош,  
Но бойко хлеб клюёт, однако,  
Свистун, неряха и гаврош,  
Всех подворотен забияка.*

*Когда в безгласные края  
Уйду от вас на самом деле,  
Пусть оживёт душа моя  
В чумазом этом лёгком теле.*

*Забудь меня, я жил давно,  
И сладко спи, смежая око.  
Я утром постучусь в окно:  
Проснись, лентяй и лежебока!*

(Арсений Семёнов)

Не он ли истинный хозяин земли, неба и подпирающих небосклон деревьев, азартный и неуступчивый, как в стихах Валентина Сидорова:

*Качает ветку воробей  
С таким упорством и азартом,  
Как будто пробует на ней  
Трамплин для будущего старта.*

*Головку набок наклоня,  
— А что творится там, напротив? —  
На незнакомого меня  
С победоносным видом смотрит.*

*Тепло плывёт со всех сторон,  
А он пищит, в меня прицелясь:  
— А ну, попробуй только тронь!  
Здесь всё моё. А ты пришелец!*

Я горжусь воробьём. Меня искренне радует ещё и то, что в семействе воробьиных воробей выбран за главного. В пособии-определителе под названием «Птицы лесов и гор СССР», изданном в 1981 году издательством «Просвещение», в разделе «Птицы величиной с воробья и мельче» наш герой взят за эталон величины, и каждая статья раздела начинается словами «с воробья» или «несколько мельче воробья», «крупнее воробья».

Живи, мой удивительный дружок воробей! Радуй меня и моих близких своим присутствием на земле. А мы будем помогать тебе выживать. Вчера мы с вну-

ком Лёничкой построили очередную для тебя кормушку и прикрепили к кривой ветке дерева на набережной невдалеке от царя. А вот и стихи, которые мы тебе подарили:

*За окном — продрогшего —  
Вижу воробья.  
Где твой дом, воробушек?  
Где твоя семья?*

*В поле за сугробами —  
Темень, холода.  
Воробей, воробушек,  
Где твоя еда?*

*Зачирикал крохотный:  
— Что найду — еда!  
Прыгаю да охаю  
В злые холода.*

*За окошко брошу я  
Сладкий пирожок:  
— Прилетай, воробушек!  
Серый мой дружок!*



ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

## Сокровенный портрет. Экслибрисы Анатолия Аносова

Их ждали, надеялись и, действительно, получали в подарок на день рождения как откровение о себе. Так друзья Анатолия Ивановича Аносова вспоминают приход экслибрисов в свой мир, свой дом, свою библиотеку. Так оно и чувствуется при их рассматривании. Только пронизательный взгляд художника мог угадать что-то неведомое и неразличимое в других. И только образное мышление могло выразить это в метафоре, изобразить в притче. Люди, для которых создавались экслибрисы, замечательны в истории, культуре и науке Иркутска. Василий Прокопьевич Трушкин, Ростислав Филиппов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Марк Сергеев, Дмитрий Сергеев, Глеб Пакулов, Владимир Жемчужников и Нелли Матханова, Виталий Венгер, Арнольд Харитонов, Владимир Скиф, Сергей Захарян, Владимир Тетенькин, Виктор Васильевич Телятьев, Геннадий Константинович Сапронов, Аркадий Григорьевич Елфимов, Галина Анатольевна Солуянова, Борис Александрович Говорин и другие запечатлелись в душе города, стали его лицом. Их биографии — биография города, Сибири, прирастание ее культурного слоя. Тектонические пласты русской культуры. И потому экслибрисы Анатолия Аносова уже не только отражение души известного человека — писателя, поэта, ученого, художника, актера, общественного деятеля — это отражение лица Иркутска, его души.

Тихая, камерная выставка экслибрисов Анатолия Аносова открылась в декабре 2019 года в Иркутском художественном музее им. В.П. Сукачева стараниями научного сотрудника Натальи Леонидовны Новиковой. А состоялась она благодаря дару, сделанному музеем Галиной Егоровной Аносовой, женой художника. Ее же хлопотами подготовлено издание альбома-каталога «Анатолий Аносов» (Иркутск, 2018), вобравшего в себя графику, в том числе экслибрисы, и живопись. Издание, подготовленное сотрудниками музея, дает целостное представление о творчестве художника-графика, соединившего изображение и слово, чутко отзывавшегося на образные миры Валентина Распутина, Альберта Гурулёва, Алексея Зверева, Марка Сергеева, Александра Вампилова, Льва Кукуева, Петра Реутского, Михаила Трофимова, Сергея Иоффе, Владимира Скифа. Редкий талант, осязающий в полноте красоты линию и звук, молчание как затаенное белое и голосистость черного. В согласии белого и черного, их столкновении, взаимодействии — жизни живого — поэтика мудрости Анатолия Аносова, его способность проникнуть в скрытое. Именно мудрости, потому что вслед за рассматриванием иллюстрации возникает желание перечитать книгу, понять пропущенное, всмотреться в слово писателя.

Несколько витрин с экслибрисами, скромно стоящих у входа на основную экспозицию музея, долго не отпускают, боишься что-то забыть, оставить здесь

важное. Вглядываешься в каждый прямоугольник экслибриса как в душу, прикасаешься к сокровенному. Словно вбираешь в себя небо, его глубину и неизмеримость. Среди адресатов экслибрисов — мои любимые университетские преподаватели, любимые писатели, произведения которых стали частью меня, известные деятели, видимые и встречаемые в жизни, или слышимые только издали имена — с экранов, газет, книг... С ними собирается прошлое, зримым становится настоящее и верится в будущее.

Нестором-летописцем в уединенной келье, скрытой за мощными стенами монастыря, предстает Василий Прокопьевич Трушкин, литературный критик, историк иркутской литературы, профессор, доктор филологических наук. Человек, открывший России Александра Вампилова. Окрыливший литературой тоненького кудрявого юношу. Тогда в октябре 1957 года молодой доцент Трушкин пригласил начинающих авторов в студенческое литературное объединение, организованное при газете «Иркутский университет», чтобы помочь им стать писателями. На зов откликнулись студенты, собралась группа. Писали, встречались, обсуждали, учились друг у друга, у классиков, росли и со временем стали мастерами. А уединение летописца в экслибрисе, скорее, как состояние души Василия Прокопьевича, метафора сосредоточения, посвящение себя одной цели — истории литературы, избранность и значимость ее для будущего. Таким мы видели Василия Прокопьевича на лекциях, экзаменах, в общении, в критических статьях и монографиях.

Сова, символ мудрости, зооморф олимпийской Афины, покровительницы ремесел, мудрости и тайного знания, простерла в экслибрисе крылья над скрытой в крипте кельей, словно укрывая ее, защищая. Античные колонны держат своды комнаты, указывая философские опоры ученого труда. По устройству келья — крипта, в древнегреческом языке имеющая значение укромного, тайного места, затем дополненного значением усыпальницы, места молитв ранних христиан, хранения мощей святых. Смысл сокровенного, потаенного присутствует в том, что открыто в экслибрисе, где каждый из знаков складывается в притчу, повествование о труженике. Летописец погружен в чтение — любимое занятие Василия Прокопьевича, великого книгочая. А в комнате только лавка и столик для письма — аскетизм мудреца-отшельника. И дата создания экслибриса словно печать истории.

Экслибрис Виктора Астафьева обнаруживает связь его прозы с классикой русской литературы — творчеством Достоевского. Неподвижная фигура мыслителя в центре вписана в мрачный прямоугольник — то ли памятник, то ли вход в незримое и вечное. Темная скрытость непознанного. Атмосфера тяжелых дум — центральная метафора экслибриса. Знаки петербургского мира, уличный фонарь, лестница набережной, часть моста, арка выхвачены из романов Достоевского, из философских монологов, диалогов, споров его героев, отражающих свет и тьму человеческой души. А парапеты набережной, отделяющие мир людей от стихии, граница миров видятся художнику-графику корешком книги с открытыми навстречу лестнице страницами. Да и сама лестница со ступеньками-страницами напоминает о книге, о литературе. Готический собор в правом верхнем углу звучит хоралом, продолжая мотив ступенек, а вместе с ним и восхождения. Мир, вероятно, дорогой для Виктора Астафьева сложностью, неоднозначностью — лабиринтами жизненных дорог, лабиринтами человеческой души. Мало света в экслибрисе, как мало его в тяжелом, многоголосом слове Достоевского, в мысли, бьющейся в поисках света, в муках преображения. Вероятно, в образе великого русского мыслителя воплощен источник и идеал творческих исканий самого Астафьева.

Светлым, открытым в мир, и словно тяготеющим к срастанию с ним, смотрится экслибрис Валентина Распутина. Экслибрис посвящен 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (1978). В его центре портрет великого классика, венчающего могучее дерево, вероятно, дуб. Крона обрамляет лицо, соединяя буйство листвы с высоким лбом и сдвинутыми бровями. Сила жизни и несогласие с ней в страстном взгляде старика — смысловой контрапункт образа. Крепкие извилистые корни растекаются в стороны, начинают новые реки мыслей. Теми же ручейками текут нижние ветки. Дерево, которое уже не может не восприниматься Царским лиственцем из «Прощания с Матёрой» Валентина Распутина. Изображение в экслибрисе построено по иконописным законам, в виде мандорлы — многослойных кругов, выделяя лицо Льва Толстого в верхней части и окружая его линиями кроны и корней. Устойчивое, укорененное, связанное с землей и одновременно парящее в воздухе, изображение ощущается метафорой связи неба и земли. И композиция, по форме овальная, напоминает звено цепи, смыкающее верх и низ. Где-то в глубине, за деревом шумят дожди, гремят грозы. Крона дерева взмахивает распахнутыми крыльями, стремясь ввысь. Внутри экслибриса Анатолия Аносова, как и в поэтике Валентина Распутина, скрыты глубинные метафоры — образы сцепления мысли и формы.

Восторженным романтиком, ведущим за собой, представлен в экслибрисе Ростислав Филиппов, журналист, поэт, главный редактор Восточно-Сибирского книжного издательства, руководитель Иркутского отделения Союза писателей России. Зажженный факел в его руках указывает путь кораблям. Поэт и маяк естественны в своей величине, оба влекущие и направляющие. Двухметровый рост поэта известен всем, кто был рядом с ним. Видимый и невидимый — духовный рост — воспринимался как призыв. На знаменитом Читинском семинаре молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока в 1965 году Ростислав Филиппов приветствовал гостей в образе Дон Кихота, «рыцаря книги». Он стоял в открытом кузове грузовика, въезжающего на центральную площадь Читы, где начинался праздник. На фотографиях в читинских газетах статный рыцарь со своих подмошков возвышается над площадью Ленина рядом с Дульсинеей Читинской, которая ему по плечо. Дон Кихотом поэт и остался на всю жизнь. Честный, принципиальный, прямодушный, разящий. В экслибрисе Анатолия Аносова он Гулливер в стране лилипутов, и ведет корабли противника, освещая себе и им путь. Образ противоречивый, но и спасительный для обеих сторон в сюжете Свифта, поскольку миротворческий, прекращающий пустые раздоры и ссоры. Здесь, в экслибрисе, зовущий к высшему, к тому, что видит только он. Много света в рисунке: факел, солнце, струящиеся лучи из небесной книги. И все это над дождями и невзгодами. Море едва прикрывает подошвы туфель великана. Композиция, условно делимая посередине, отдает половину пространства небу. Человек упирается головой в космос, смотрит вдаль, понимая, от чего уводит маленькие корабли, двигаясь к новому, неведомому. Шаг великана решительный, уверенный, порыв стремительный. С таким не поспоришь и не пропадешь. Видеть выше земного, вести за собой, нести свет — быть маяком — буквальные и метафорические смыслы образа в экслибрисе раскрывают личность Ростислава Филиппова. Такова степень постижения художником-графиком души поэта.

Двухцветный экслибрис писателя Дмитрия Сергеева выводит из неизбежности столкновения черного и белого. Оранжевый цвет, дополненный при печати вторым оттиском, вносит вдохновение, ликование, ощущение торжества жизни,

отменяя законы графики как черно-белого видения мира. День Победы — дата «1941–1945» в правом нижнем углу подсказывает это. Но и без подсказки ясно, что мы попадаем под сверкающий майский салют, который стирает грани дома и мира, окна и неба, соединяет мир в едином порыве счастья. Счастье огоньками взлетает из букета таежных жарков, теплых, солнечных, многообещающих. Сияющая материя цветов-салютов насыщает все пространство, делая изображение светлым, легким, воздушным. И почти неразлично по стеклу и раме окна скользят тени, тревожа памятью о павших воинах, не увидевших победный салют. Они словно стоят за спиной, отражаясь в окне. И его проем видится уже памятником, обелиском, а цветы на подоконнике — вечным огнем. Для фронтовика Дмитрия Сергеева память о погибших свята и неразлучна с ликованием праздника. Ведь и на знаменитый Читинский семинар молодой автор, геолог, приехал с военными рассказами, на которые обратил внимание сам председатель правления Союза писателей России Леонид Соболев, писатель-фронтовик, организатор форума. Ради них и пришел к Дмитрию Сергееву на семинар. И тогда, по словам Владимира Жемчужникова, «фронтовик уточнял фронтовика». Пронзительность и достоверность — главные качества прозы Дмитрия Сергеева — отметил писатель Владимир Чивилихин, руководитель семинара. Благодаря военным рассказам начинающий автор был рекомендован в Союз писателей России.

Образ Пушкина как идеал творца представлен в экслибрисе Марка Сергеева, поэта, писателя, главного редактора журнала «Ангара», руководителя Иркутского отделения Союза писателей России. Автопортрет Пушкина из его рукописей дан в профиль, обращенным влево, в прошлое, и выступает на фоне шпиля Петропавловской крепости и Невы. Водная стихия реки, скованная гранитом, в экслибрисе тиха, зато небо кипит тучами. Осязаемо их движение, сгущение, сопротивление лучам света. Кудрявая голова поэта вписана в это бурление и движение небес. Шпиль крепости разрывает темнеющую густоту туч, прорываясь выше. Мощь природных стихий занимает основное пространство листа, в котором вода и грозное небо соединены профилем поэта. Поэта, объединившего в себе и тишину умиротворения, и бурление страстей. Противоречия человеческой души, смиренные художественным словом, возможно, и были сокровенным портретом души Марка Сергеева. Но можно открыть сборник его стихов, чтобы подтвердить это или не согласиться.

Один из первых экслибрисов художника-графика (1972) создан для писателя Глеба Пакулова. Озорной мальчишка в буденовке набекрень, кажется, недоволен чем-то, огорчен. Рядом молчит горн, упертый в землю. Слева над головой юного красноармейца искрятся звезды. Образ навеян пьесой-сказкой для детей «Горнист Чапая», с которой поэт приехал на Читинский семинар молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока, чем удивил многих, поскольку был известен как автор сборника стихов «Славяне» (1964). На семинаре Глеб Пакулов и Александр Вампилов работали вместе, группа драматургов была самой малочисленной. При обсуждении пьесы «Горнист Чапая» Вампилов стоял горой за друга. Второй экслибрис для Глеба Пакулова не заставил себя ждать и появился через два года (1974). Можно предположить, что незаурядная личность писателя не давала покоя художнику-графику. Поэт-драматург удивлял не только яркостью дарования, но и периодами подъема и спада творчества. Вероятно, именно эту противоречивую особенность писателя метафорически выразил Анатолий Аносов, изобразив молодого автора сидящим задом наперед на Пегасе, который мир-

но щиплет цветы. Крылья поэтического коня готовы к полету, на его шее висит лавровый венок. Противоречивость и в том, что на спину коня водружен массивный письменный стол, который, кажется, пока не тяготит крылатого коня. И в том, что если Пегас вдруг вздумает взлететь, а он может это сделать в любую минуту, писатель, уютно устроившийся за столом, упадет. И тем удивительнее сосредоточенность автора. Необычность позы писателя изображена в острый, напряженный момент непредсказуемого поведения Пегаса, и направляет сюжет действия сразу в обе стороны — туда, где оно начиналось, и туда, где оно может продолжиться. Свернутым действием раздвигаются рамки экслибриса, внутренне содержащего три временные координаты. Драматургия композиции будто отрицает статику графического искусства, тянется к кинематографии.

Владимир Жемчужников и Нелли Матханова неразделимы. «Писательский дуэт», по словам Владимира Скифа. Экслибрис запечатлевает единство двух миров. В нижней части чаепитие вдвоем около самовара, по разные стороны стола, друг против друга — глаза в глаза, общность в разности. Симметрия, дающая устойчивость форме существования. Два писателя, два творца, объединенные семьей, судьбой, милостью Божией. Они выделены светом из сумрака вечера и зеркально отражают друг друга — в жестах, позах, в мимике. В верхней части экслибриса единство расцветает букетом поэтических перьев и обилием рукописей в вазе. Такова семейная идиллия с богатым результатом литературных произведений. Тихая гармония домашнего уюта внизу и резвая зелень вверх. Композиционно экслибрис поделен пополам. И нижняя часть отделена от верхней, отсекая равновесие душевных сил в общении друг с другом от прорастания и реализации себя в творчестве. Дремлющая у ног огромная собака — из тех же знаков сдержанной страсти. Тишина, готовая прорваться новой реальностью, вечер, переходящий в утро.

Шалости детей позволены в экслибрисе Арнольда Харитонов, журналиста, писателя, сценариста. Две девочки качаются, оседлав валенки, из которых торчат поэтические перья, прорастающие ветками, травами, кустами. Детская игра держится только на высоких тонких конструкциях инициалов «А» и «Х» — забава, почти не имеющая опоры. Но безудержная радость расшалившихся детей заражает. Стопки машинописных листов выстраиваются вверх многоэтажками, небоскребами. Листы создают свой вертикальный мир и тут же готовы осыпаться дождем, листопадом. Композиция симметрична — полярна, тем и устойчива в соотношении с вихревыми линиями качания. Сложные, философские метафоры доступны, наверно, только автору экслибриса и его владельцу. Но зрителю ясно, что в этом мире разрешено все — и резвость детства, и плодovitость слова, и устойчивость, и качание, и полет, и возвращение. И восхождение, и нисхождение к другому.

В 1985 году экслибрис пришел в библиотеку поэта Владимира Скифа. В красивой и стройной композиции, в древнерусских предметах-символах поэт сразу признал соответствие собственным стихам о России, идеям связи прошлого и настоящего, и даже увидел предчувствие своего будущего перевода «Слова о полку Игореве» (В. Скиф. Байкальское Переделкино). Образ шлема русского воина, действительно, несет в себе значение не только воинского облачения, но и связи с землей, с родиной. «Шелом» в одном из этимологических вариантов родственен слову «холм», «возвышенность». И тогда древняя поэтическая строка звучит следом: «О Русская земле! уже за шеломянемь еси!». «О Русская земля! уже ты

за холмом!» — мотив отдаления от родины повторяется в «Слове о полку Игореве» с горечью прощания. Образ древнерусского шлема в экслибрисе венчает композицию. Но рядом — ромашки и писчее перо в колчане для стрел. Разящее оружие поэта. Композиция архитектурна, и в ее строгих формах почти не заметен, но примечателен темный утес в правом нижнем углу, образ великого озера и Шаман-камня. Порт Байкал, место летнего творчества, место встреч поэта и художника. Но утес напоминает сидящего задумавшегося человека, укутанного в темное одеяние, — то ли странника, то ли монаха. Образ ясный и одновременно неуловимый. Он уравнивает архитектуру композиции, дает опору диагонали с поэтическими символами. Скала-человек, молчащий камень с затаенной думой о вечном. Загадка художника и загадка поэта.

Экслибрис Аркадия Григорьевича Елфимова высок стремящимися к небу шпилями Тобольского кремля. Основатель великолепной серии книг «Тобольск и вся Сибирь», других культурных проектов, меценат, собравший вокруг себя духовные силы России, представлен в экслибрисе православными храмами главного когда-то сибирского города. Хвойные ветви с небес сводом покрывают старинные здания, склон высокого плато отделяет Нижний Тобольск от Верхнего. Флаги развеваются сверху экслибриса, преображаясь книгами. Тоненькие шпили куполов церквей, колокольни Тобольского кремля встречаются в небе со струйками-сиянием. Композиция экслибриса воспринимается как портал — центральный вход в храм — и зовущие к нему дороги. Тягу к высокому, к идеалу — к воплощению и сохранению духовного в культуре и русской истории увидел художник главными в душе адресата. Все в экслибрисе певучее, все тянется ввысь, и даже линии обочины, изгородей, придорожных столбов Нижнего города — их горизонталь и вертикали — видятся музыкальными инструментами в этой молчаливо звучащей симфонии.

Мелодией из дудочки менестреля вторит предыдущему экслибрис Сергея Захаряна, знатока зарубежной средневековой литературы, вдохновенного лектора. Увлеченным, поглощенным своим поэтическим предметом в образе странствующего певца-музыканта, далекого от земных забот и тягот, представлен в экслибрисе известный профессор. Увлекающийся сам и способный увлечь своих слушателей в волшебные дали литературы — в мир истории и тайны поэтического слова, образа, мысли. Менестрели, миннезингеры, трубадуры, труверы, оставшиеся далеко во времени, возвращаются к нам в лекциях Сергея Захаряна — оживают голосами любви, восхищения, радости. Окруженный книгами — шелестом и взмахом их страниц — музыкант извлекает забытую мелодию, манит, зовет, обращает к неведомому и чему-то тревожащему. Страницы книг за его плечами вспархивают и улетают вслед плывущей мелодии. Живая динамика рисунка колеблется средневековыми звуками и напевами.

Штурмами шумит экслибрис Бориса Александровича Говорина. Мужественный капитан стоит у штурвала, крепко сжимая его в руках, и твердо ведет корабль к намеченной цели. Мощная фигура, занимающая большую часть экслибриса, вызывает уважение, внушает надежду и веру в благополучное завершение пути. Над ним дожди и свет небес — линии сверху равномерно темны и светоносны, внизу — бурлящая морская стихия. А за спиной целая флотилия. Капитан стоит сразу на двух кораблях, управляя одним штурвалом. Оба корабля взрезают волны подобно ледоколам, разламывающим лед и открывающим путь другим кораблям. Метафора, понятная жителю Иркутской области, где Борис Александрович исполнял

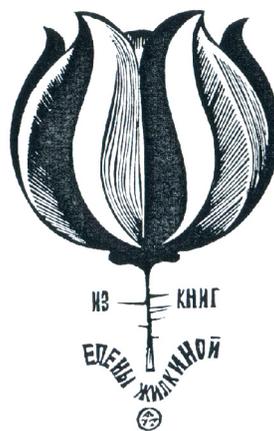
должность губернатора, входил в Совет Федерации Федерального Собрания, был главой ассоциаций и комиссий. Успевал и то, и другое, и вел других за собой, прокладывая непростой путь Иркутской области в новой России.

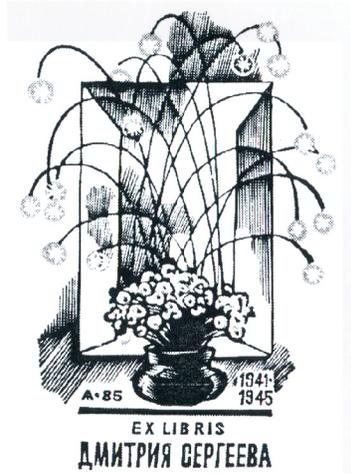
Собственные экслибрисы Анатолия Аносова — не меньшая загадка. Чуткий к другому художник пытался в течение четверти века понять и выразить себя. Первые экслибрисы выполнены в 1970 и 1975 годах, другие — в 1990 и 1996. Они в чем-то контрастны, но почти едины в одном — образах кактусов, иголок, шипов. В экслибрисе 1970 года художник с папкой в одной руке и кистью в другой бодро шагает среди зарослей гигантских колючих растений, словно нацеленных на него. Энергично, с чувством собственной правоты прокладывает мастер путь себе. Колючие лапы кактуса ошетинились вверх в экслибрисе 1990 года, их ветвистая корневая система лишена почвы и провисает над кистями художника, напоминающими противотанковый еж. В экслибрисе 1996 года колючки похожи на хвойные ветки. Мотив дополнен и усилен изображением колючей проволоки, венком лежащей у памятника собаке. Ирония и драма сливаются в этой исповеди-признании как подведение итогов собственного творчества и жизни. Очевидно, что мотив непонимания, мотив защиты своего видения мира и собственного графического языка оставались важными для художника в течение жизни.

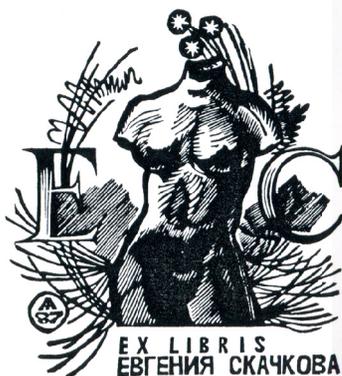
Экслибрис 1975 года Галина Егоровна Аносова, жена художника, выбрала для нижней обложки альбома-каталога «Анатолий Аносов», и это значимо. В нем много света и воздуха, в нем легко дышится. Живое — цветок и листья — соединены с прямолинейными, строгими силуэтами букв в архитектурный ансамбль. Кисть-роза прорастает вверх, стремясь к небу и возвышаясь над большими зданиями — двумя разными по тону буквами «А», инициалами художника. Летит тонкая линия у основания букв, пробивается травой у многоэтажек. Образ большого города смыкается с миром природы, как законы искусства с процессом творчества. Кисть-стебель хранит реминисценцию шпаги, воткнутой в землю — педик отложен на время роста и цветения. У двух «А» есть тень. И множественность световой трактовки начальных букв имени и фамилии художника становится метафорой разных возможностей таланта, разных аспектов восприятия искусства — и в целом полноты графического видения мира.

Первые экслибрисы (1970–1971) были выполнены художником в технике линогравюры и в технике офорта. Тонкая артистичная линия рисунка в офорте виляла, углилась, взлетала, оставляя воздуху много места. В них почти нет светотеневого моделирования. Линия едва ограничивает контуры, иногда растворяя фигуры и предметы в пространстве. Обилие воздуха в экслибрисах-офортах придавало изображению миражность, мечтательность, неосвязаемость. Реальность ускользала, убегала сквозь пальцы. Поиск техники, способной выразить художественную мысль, остановился на технике линогравюры, удобной для печати и более быстрой в изготовлении. И стоит обратить внимание, насколько малы окошечки экслибриса, чтобы удивиться тонкому, ювелирному искусству графика, точному движению миниатюрного резца в его руке, следующего за пылкой мыслью. Но какое-то время обе техники сосуществовали в творчестве Анатолия Аносова (1971–1974). Линогравюра дала художнику другой язык, более близкий, вероятно, ему по духу. Дала сочность, густоту и весомость визуальных образов — и материя образов-метафор в экслибрисах получила земной статус. Лист теперь передавал не полет линии, ее танец в воздухе, а энергию отношений, драму человеческого — тяжелого черного и невесомого светлого. Передавал земную реальность произ-









ходящего. Чудесно уплотнилась и сама метафоричность, соединив в скромном пространстве экслибриса биографические, портретные, психологические, профессиональные знаки с древними знаками культур.

И все-таки Анатолий Аносов ставит больше вопросов, чем дает ответов. Но тем интереснее путешествовать по его миру — миру экслибрисов. Узнавая и не узнавая знакомых людей, встречаясь и удивляясь новым. Как весной по городу, узнавая и не узнавая проснувшиеся под солнцем дома, встречаешь улыбчивые и сосредоточенные лица. Чуткое, что-то ускользающее запечатлелось в прямоугольниках экслибрисов, похожих на окна домов, на глаза людей. В них новый свет, в них — исповедь, сокровенное признание. Отпечаток странствующей души. И портрет эпохи.



**Байборodin, А.Г.**

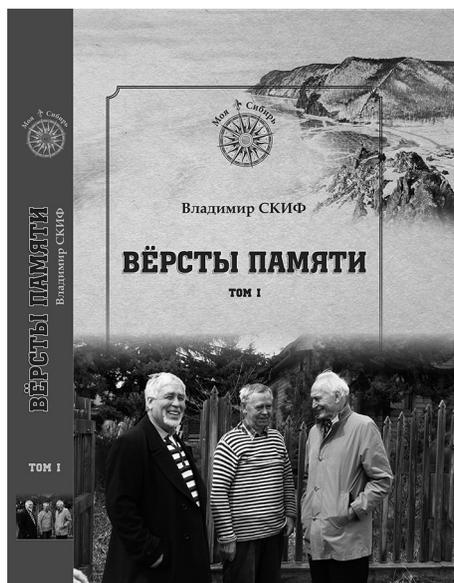
**Иркутские годы Иннокентия Московского : Книга для семейного чтения / А.Г. Байборodin. — Иркутск : Иркутский областной краеведческий музей им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 2022. — 32 с. : ил.**

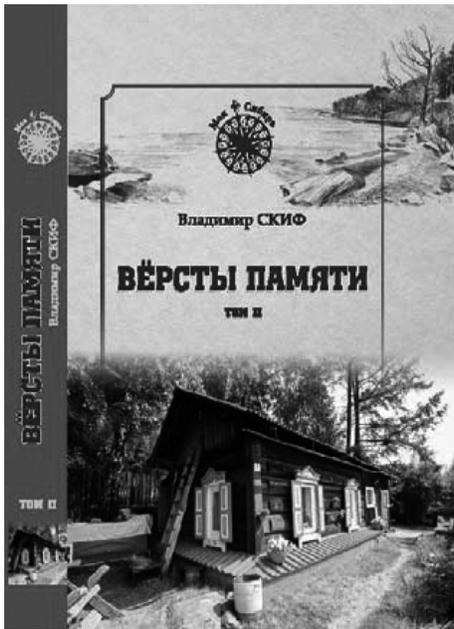
Книга рассказывает о детстве и юности просветителя народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки — митрополита Московского Иннокентия (Вениамина). О том, как мальчик Иван Попов из иркутского села Анга учился и работал в Иркутске, чтобы стать выдающимся христианским проповедником и учёным России XIX века. Текст адаптирован для детей младшего школьного возраста.

**Скиф, В.П.**

**Версты памяти. Т. 1 / В.П. Скиф — М.: «Вече», 2022. — 468 с. — (Моя Сибирь).**

В 2015 году издательством «Вече» в серии «Моя Сибирь» была выпущена в свет книга Владимира Скифа «Байкальское Переделкино». Ныне автор подготовил к печати двухтомник публицистики «Версты памяти». В первый том данного издания вошли произведения, написанные в разные годы, начиная с 80-х годов прошлого столетия. Это очерки, эссе, воспоминания: о малой родине, о писателях — В.Г. Распутине, В.П. Астафьеве, В.М. Шукшине, И.И. Молчанове-Сибирском, Владимире Солоухине, Александре Казинцеве, Дмитрие Мизгулине; предисловия к книгам воспоминаний о В.Г. Распутине, А.В. Вампилове. Представлены поэты Денис Цветков, Вадим Ярцев, Георгий Кольцов, Татьяна Суровцева, Геннадий Гауда, Борис Архипкин, Евгений Варламов, Пётр Прихожан, Василий Забелло, Владимир Корнилов, сказочник Василий Стародумов и др.





**Скиф, В.П.**

**Вёрсты памяти. Т. 2 / В.П. Скиф — М.: «Вече», 2022. — 456 с. — (Моя Сибирь).**

Во второй том двухтомника «Вёрсты памяти» вошли предисловия известных критиков и поэтов к книгам Владимира Скифа: Владимира Бондаренко «Русский крест», Вячеслава Лютого «Молчаливая воля небес», Станислава Куняева «Золотая пора листопада», Юрия Перминова «Все боли века я в себе ношу», Эдуарда Анашкина «Он место в космосе искал», Александра Донских «Скифотворения»; статьи и очерки Валентины Ефимовской, Лидии Довыденко, Маргариты Карановой, Григория Блехмана, Николая Переяслова, Игоря Шумейко, Вячеслава Ар-Серги, Юрия Брыжашова, Игоря Изборцева, Евгения

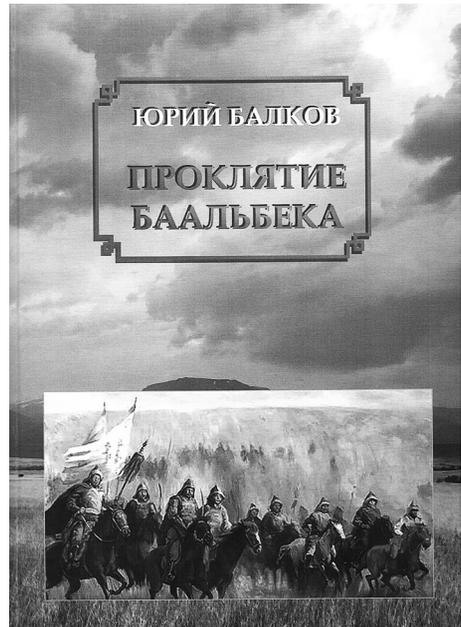
Артюхова, Валерия Скрипко, Ирины Прищеповой; впечатления о творчестве В. Скифа Светланы Сырневой, Игоря Тюленева, Валерия Хатюшина, Дианы Кан, Евгения Семичева, Николая Алешкова. Одним из первых, кто заметил В. Скифа и написал о его ранних стихах, был ленинградский поэт Вадим Шефнер.

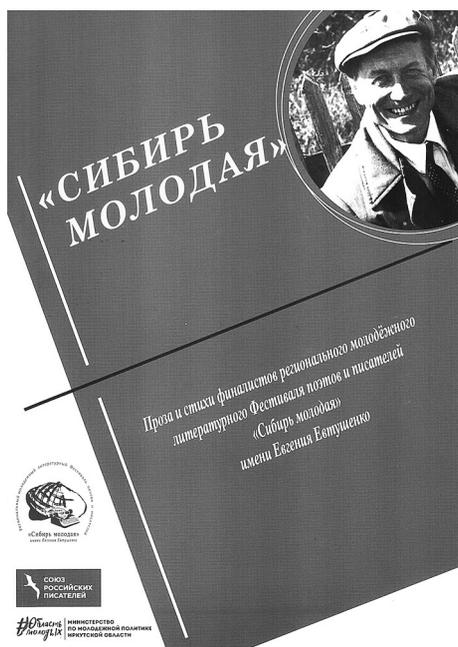
**Балков, Ю.К.**

**Проклятие Баальбека: избранные повести / Ю.К. Балков. — Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2022. — 320 с.**

Член Союза писателей России Юрий Балков (1961–2005) — автор нескольких художественных и публицистических книг, вышедших с 1998 по 2005 годы, многих журнальных публикаций. В данное издание вошли его избранные произведения, в том числе историческая, последняя повесть «Проклятие Баальбека».

Книга издана по решению Издательского совета ОГАУ «Иркутский Дом литераторов».





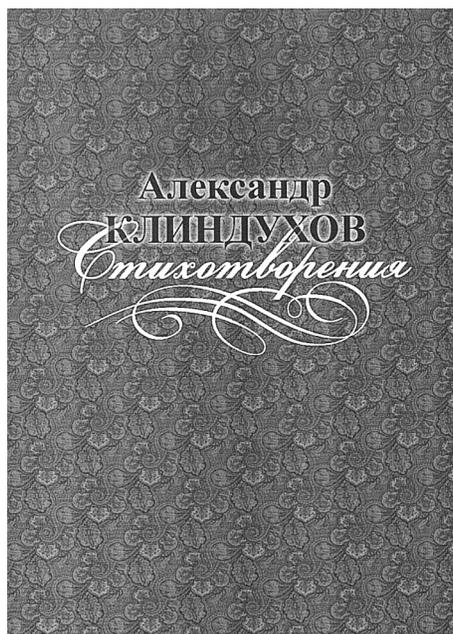
**Сибирь молодая : Проза и стихи финалистов регионального молодёжного литературного Фестиваля поэтов и писателей «Сибирь молодая» имени Евгения Евтушенко. — Зима : Центральная библиотека семейного чтения им. Н. Войновской, 2022. — 82 с.**

В сборник включены произведения финалистов регионального молодёжного литературного фестиваля поэтов и писателей «Сибирь молодая» имени Евгения Евтушенко.

**Клиндухов, А.Ф.**

**Стихотворения. Книга избранных стихотворений / А.Ф. Клиндухов; авт. вступ. ст. В. Скиф. — Киров: [б.и.], 2022 (ООО «Кировская областная типография»). — 144 с.**

Книга избранных стихотворений «Стихотворения» — шестая книга поэта, члена Союза писателей России Александра Клиндухова. Поэт является автором пяти книг стихотворений, повестей «Военная школа» и «В Петропавловске-Камчатском полночь». Стихотворения публиковались в «Литературной газете», в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Смена», «Нижегородская провинция», «Луч», «Нижний Новгород», «Подъём», «Сибирь», «Сура», «День и ночь», «Ротонда», «Традиции & Авангард», «Двина», «Другие берега» (Италия), «Нива» (Казахстан), «Новая Немига литературная» (Белоруссия).



# Сумочка к ребру



ВЛАДИМИР СКИФ

## Литературные пародии

### Тараканья судьба

...От сна обалдевшая муха  
по комнате светлой кружит...

...Ничтожна, глупа и нахальна,  
не ведая я выборе средств,  
она осквернила буквально  
всё то, что придумал творец.

До этого дня без износа  
она прожила, как в раю.  
Но вот обпилась хлорофоса!  
...Простите жестокость мою.

*Светлана Мекшен*

Смотрю изумлённо и тупо,  
как, мой оскверняя стакан,  
рискованно, страшно и глупо  
бежит по нему таракан.

Простить я любое способна,  
но ЧТО он сейчас натворил  
мне даже сказать неудобно:  
он прямо в стакан... насорил!

Сметая кусочки навоза,  
я думала — как поступить?  
Налить ли в стакан хлорофоса,  
убить ли, потом утопить?

Зарезать ножом — нету силы.  
Он понял смятенье, хитрец!  
Пока я судила-рядила,  
уже доедал холодец!

Меня эта наглость убила...  
Решив — не уйдёт он живым,  
я пальцем его раздавила —  
и плакала долго над ним.

## Рассказ ночевщика

Много я бродил по свету.  
Было дело —  
    кочевал!  
Но рассказ мой не про это,  
А про то, где ночевал.

Приходилось спать на сене,  
На сосновом чердаке,  
Приходилось — на полене,  
На берёзовом пеньке...

...Вспоминаю, спал вповалку  
С куропатками в снегу...

*Вильям Озолин*

Всех лежанок я лишился,  
Но об этом не скорбел:  
То в торпеду спать ложился,  
То на камбузе храпел.

Утром боцман или мичман,  
Выходя из гальюна,  
Били в лоб меня «чумичкой»,  
Чтоб очнулся ото сна.

Спал я в море, спал на суше,  
Спал с лягушками в пруду,  
Прогоню бывало чушек  
И в загончик спать иду.

Помню: как-то дождик крапал,  
Ну, а я у пса просох:  
В будке спал, поджавши лапы  
И покусывая блох.

Я себе не изменяю:  
Сплю в берлоге и в стогу,  
И поэмы сочиняю  
С куропатками в снегу.

## На верхней полке сознания

И утро настало, и ветер потух  
И смолкло далёкое эхо,  
И солнце вскочило, как будто петух,  
На нижнюю ветку ореха...

...День начинался так: кричал петух...

...Я в облачке питательного пара  
Стыдливо продавал им пироги...

...Весь день, озябший, с красными руками,  
С отвисшей от смущения губой  
Под ржавой водосточной трубой  
Сутулился над свёртком с пирогами...

...Вкус теста, пряность теплого повидла...

А правда не бывает без варенья...

*Рудольф Ольшевский*

Я вам доверяю мои письмена,  
Мой опыт поэта и знанья.  
Запрыгнула курица или луна  
На верхнюю полку сознания.

А там у поэта чего только нет:  
И примус, и тайна альянса.  
Но главная вещь — это розовый плед  
Из шёлковых слов Ренессанса.

Там вруша Светоний, фигляр Одисеей,  
Овидий, варяги и греки,  
И пчёлы, и утки, и стая гусей,  
И двух петухов «кукареки».

Сияет во мгле Мироздания дыра,  
И я, приглядев себе место,  
На полке сознания катаю с утра  
Сюжетов тягучее тесто.

С отвисшей губою среди бытия  
Стихов пироги выпекаю.  
В них много повидла и много вранья.  
Простите! Но кухня такая...

## СВЕТЛАНА СУПРУНОВА

### Грёзы

...Вдали кабак мерцает сладко,  
Мороз ударил или свет.  
— Ямщик, скажи мне для порядка,  
Попойка будет или нет?

Мы обустроились, согрелись  
Среди свечей, лампад, острот.  
Ах, Боже мой! Какая прелесть!  
Красотка водку подаёт

И глухаря, и пива кружки...  
Как эту прелесть не любить!  
И я подумал, что я — Пушкин.  
Как славно — Пушкиным побыть.

...Но Блок — учитель мой и скромник —  
Мне из коробки погрозил.

*Владимир Скиф*

Пригрезились кабак и тройка  
И что летим туда стремглав.  
«Ямщик, а будет ли попойка?» —  
Тяну возницу за рукав.

«Всё будет, барин. Мне нальёте?»  
Киваю головой. Вошли.  
С поклоном: «Пушкин. Узнаёте?»  
Девушка робко: «Натали».

Кабак гудел, мы пили рьяно  
На брудершафт, ещё разок.  
В шелках ко мне подседа дама,  
И я представился ей: «Блок».

В виденьях снова перемены:  
Сижу (вода со всех сторон)  
На острове Святой Елены.  
Наверно, я — Наполеон!



EX  
LIB-  
RIS

А-ВАМ-  
ПЛА-  
ВА

БАЙКАЛ, БАЙКАЛ...  
*Валентин Распутин*

